

СТЕНА

Повесть

1

Искренна ли я сама с собой? Искренна ли я вот сейчас, перед белым листом бумаги, которому с радостью поверяю свою жизнь, у которого спрашиваю, кто я и что собой являю, и как быть мне дальше? Ну, положим, спрашиваю-то я у себя, но искренно ли спрашиваю, все-все ли стремлюсь узнать о себе, все-все ли хочу понять, всем ли, что только мое, сугубо мое, готова поделиться? Не самолюбование ли это, не очередной подслащивающий жизнь самообман? Наедине с белым листом бумаги я не одинока, я под прицелом собственного внимания. Но почему только эта толстая тетрадь мой единственный друг и советчик, почему мне больше некому открыть душу? Почему не люди – мои собеседники, почему никому из них этого не надо? И как, по чьему злему наитию я оказалась в таком заколдованном кругу? Почему, как всегда, во всем этом виноват только один человек – я сама?

Конечно, не каждый видит в белом листе бумаги отзывчивого собрата и заботливого друга, а я – вижу. Когда я пишу о себе, когда выговариваюсь до полной усталости, я быстро успокаиваюсь и как бы привожу себя в порядок, как бы готовлюсь отдать себя на более широкий суд, даже на всесветный суд. А что? Мир состоит из таких же людей, других в нем нет. То есть, как это нет? непохожесть людей делает мир великим и необъятным, непостижимым в своей привлекательности. Но это – непохожесть в малом, в скромных деталях и нюансах, при единении в большом и общем. Или меня заносит, и я опять ошибаюсь? Имею ли я право говорить о единении в большом при нашем разъединенном, сугубо индивидуальном, сугубо эгоистическом бытии? Время покажет. Не каждый вопрос требует сиюминутного ответа, над некоторыми задумываться приходится, извилины мозговые напрягать. Бывает и так: задумаешься, а все равно нет ответа.

Еще я спрашиваю себя: почему белый лист бумаги так похож на зеркало? Он, как и зеркало, великолепно отражает, но ничего не привносит от себя. Я начала вести дневник десять лет назад. Мне как раз исполнилось восемнадцать. Помню, какой это был хороший, радостный, даже особенно радостный, неповторимо радостный день, и мне казалось тогда, что вся моя жизнь будет состоять из таких замечательных дней. Теперь мне двадцать восемь, и, оглядываясь назад, я не вижу второго такого же неправдоподобно прекрасного дня, второго такого же яркого и высокого всплеска.

Хуже того: сами надежды мои как-то поистерлись и скукожились, стали все однотонного серого цвета и, главное, отделились от меня. Испугались и отделились. Я не пессимистка, я человек, скорее, ровный и сторонюсь крайностей. Но почему хорошее и светлое обходит меня и обходит, словно я запятнана неким злым роком? Тихо, Вера! Все-все. Тихо, и не скрипеть, не роптать, не шебуршиться, никого ни в чем не винить. Никчемное это занятие. Наше время любит и жалуется активного человека, который даже во сне видит себя в светлом завтрашнем дне не рядом со всеми, а на некотором возвышении. Время энергичных деловых людей, которые знают, чего хотят и как этого добиться. Поэтому – тихо, все-все.

Прежде я вела дневник бессистемно. То, подчиняясь наитию, бросалась писать и спешно, взхлеб изливала душу, в две-три ночи заполняя пухлые тетради. Потом охладевала, изматывала себя укорами: не так писала, и не о том, что-то самое-самое оставалось невыплеснутым. Интерес угасал, и проходили месяцы, прежде чем в дневнике появлялась следующая запись. Шероховатости коробили меня и длинноты, меня так и тянуло углубляться в подробности, чтение написанного постоянно рождало неудовлетворение. Я редко и без удовольствия перечитывала дневник. Во мне почему-то поднималась неприязнь к себе, стремление ударить, унижить себя, высмеять свои метания, свои надежды, выкрашенные в цвет мыльных пузырей, и я чуть ли не с криком захлопывала тетрадь, словно зеркало это было, ко мне совсем не любезное. Почему я так поступала? Наверное, в записях было слишком много несбывшегося, а это очень не легкий груз. Ничто так не пригибает к земле и не разочаровывает, как сожаление о несбывшемся. Эта горечь такого свойства, что тяжелее не бывает.

Теперь же и читать нечего. Позавчера, в новогоднюю ночь, я славно наказала себя. Я сожгла все свои дневники, двадцать общих тетрадей. Моя прошлая жизнь, подробно изложенная, вдруг показалась мне ничтожной и отвратительной, настолько бедной и отвратительной, что я не пожелала более иметь при себе письменного отчета о ней. Мне несколько не было жалко, что я так поступила, и сейчас не жалко. Есть еще время, есть еще голубой простор впереди. Да что простор! Пусть мне двадцать восемь, и пусть сегодня никто не любит меня, никто не видит во мне желанную женщину. Меня полюбят. По-лю-бят! Иначе тогда для чего я родилась на белый свет? Ждя чего живу-существую? Чтобы засохнуть в лютой тоске одной-одинешенькой?

Я сожгла все свои заветные тетради в печке. Давно пробило двенадцать, город не спал, веселился и поднимал бокалы, и всем-всем пел, вещал и давал мудрые советы наш верный друг и товарищ телевизионный

экран. А я сидела одна, трезвая-претрезвая, пила терпкий вьетнамский чай, и грустно мне было совсем немного, словно я вдруг поднялась над своей грустью, вдруг стала выше ее и тем самым отделилась от нее. Словно в том, что я опять встретила новый год одна, не было ничего неестественного. Бабушка спала, дышала тяжело, с присвистом; новый год не сулил ей ничего нового.

Ей девяносто шесть, она два года назад упала вот в этой самой комнате, на ровном месте упала, сломала шейку бедра и с тех пор не встает, кровать – ее постоянное и единственное место пребывания. Склеротический туман все спутал и перемешал в ее сознании, и она то жалобно зовет своих давно умерших детей и удивляется, почему они к ней не подходят, то вперит в меня взгляд своих угасающих, отчужденных, слезящихся глаз и вопрошает: «Ты кто?» И я обмираю от ее громкого: «Ты кто?» Крикнуть хочется: «Вера я, внучка твоя! Вспомни, вспомни меня, напряги свою память!» Понятно, что все ее праздники позади. Все меньше остается в ней от человека разумного, все сильнее обнажается грубая биология, отключенная от интеллекта. Но я скорее умру, чем попрекну ее или отступлюсь от нее. Ибо я помню, какая она была до склеротического тумана. Она была человек с большой буквы. Ни минуты не сидела без работы.

Но почему во мне не проснулось ни одно чувство из тех, которые обычно приходят к нам в канун больших праздников? Я ждала с наивной надеждой: не может быть, чтобы души не коснулся праздник. Часы пробили двенадцать, я все ждала. Посмотрела на себя в зеркало. Беспечальное лицо, спокойный, мягкий взгляд, полное согласие и единение с окружающим миром. А внутри меня уже разгорался костер, жар становился все сильнее, нестерпимее. Вдруг руль судьбы повернулся, надвинулось необычное. «Начнешь сначала!» – сказала я себе, придав мысли силу внушения. Знала ли я, как люди начинают сначала, на пустоши, холодной и серой, оставив или разрушив то, что вчера казалось им дорогим и незыблемым? Догадывалась. Стискивают зубы и начинают.

Я потянулась к дневникам, надеясь прочитать ответ. Эти тетради и были средоточием моих несчастий. Оказывается, я день за днем и год за годом скрупулезно фиксировала свои разочарования и неудачи. Угораздило же меня так откровенничать! Я словно поперхнулась. Распахнула дверцу печки, вырвала из тетради первый листок и швырнула на малиновые переливчатые угли. Листок вспыхнул мгновенно, корчась и чернея, печка издала тяжкий вздох, поток воздуха умчал вверх зыбкий серый пепел. Я чувствовала, как огонь просветляет и очищает меня. Я стала швырять в печь листок за листком. Дни и годы моей жизни с шумом уносились в дымоход, и мне нисколько не было их жалко. Ибо в них было заключено мое одиночество. Давайте, улетайте! Никаких воспоминаний, сначала – так сначала.

Со странным, необъяснимым удовольствием расправлялась я со своим прошлым. Зачем оно мне, такое ущербное? Зачем мне благие намерения, не ставшие конкретными делами, и сумеречность неудач, и холод одиночества, ожесточающий ум до обжигающих вспышек ясновидения? Я протестовала, я изгоняла из души память о прошлом – надолго ли? Сразу и навсегда я отказывалась от своего прошлого, словно одно это могло сделать меня счастливой. Печь становилась похожа на одушевленное существо, и если бы я очень захотела, я бы смогла понять язык, на котором она говорила.

Но я не захотела ничего слышать о своем прошлом, я была занята его уничтожением. Тетрадь десятая – гуди, огонь! Неистовствуй! Тетрадь пятнадцатая – смейся, пламя, и торжествуй! Тетрадь двадцатая – Вера, не витай в поднебесье, не воображай себя тем, кем ты никогда не была и не будешь! Жизнь состоит из простых вещей, даже из очень простых и предельно обыденных. И если, за их неимением, подменить их чем-нибудь другим, суррогат обнаруживается сразу, и разочарование неизбежно. Оно обрушивается, а ты не готова стоять под такой ношей и что-то жалко лепечешь. Зачем? Кто тебя услышит, а, главное, поймет? Лучше сразу и насовсем. Я расправлялась со своим прошлым с иступлением отчаявшегося, но и возмнившего о себе человека. Когда пламя издало прощальный вздох, было четыре. Я почувствовала огромную усталость. Представила, как выгляжу: всклокоченные волосы, воспаленные глаза, большой, как бушприт, нос, лиловые губы. Но от зеркала отвернулась. Не люблю зеркал, они бестактно правдивы. Они совсем как люди, которые говорят то, что думают. Такие люди, я знаю, не нравятся никому.

У соседей пели. Красиво пели, от души. Минуту или две я бессознательно подпевала. Потом разделась, легла и сразу заснула. Проснулась, увидела солнце. Подумала: что-то должно произойти. Не хочу, чтобы жизнь моя и дальше была... так привязана к наезженной колее, так мелка и неинтересна.

Осталась без хлеба и масла. Слетала в магазин. Продавец уже снимал халат и собирался уходить. Я смотрела на него и молчала. Если бы он не обслужил меня, я бы ничего не сказала. Но он пересилил себя и обслужил. Я поблагодарила, и он пошел вслед за мной запереть двери. Его тапочки скользили по гладкому полу, как лыжи. Всю обратную недолгую дорогу я думала об этом человеке: как он живет, и добр ли он, и дает ли ему его работа приварок (в нашем краю это особенно ценится). Меня часто посещают странные мысли о том, к чему, казалось бы, у меня не должно быть никакого влечения. Раньше я делилась ими с подругами, и они весело высмеивали мою непрактичность. Им очень нравилось, что они не такие. Я замкнулась, – они не обратили

внимания. Им было хорошо и без моих непрактичных суждений. У продавца было не пухлое лоснящееся лицо с маленькими заплавленными глазами, а тонкое интеллигентное, с оттенками печали. Я думала об этом случайном человеке, и мне казалось, что если бы он пожелал быть откровенным со мной, - мысль фантастическая, но ничемная совершенно, - я бы сумела погасить его печаль. Я бы его растормошила, и очень скоро ему стало бы со мной непринужденно и хорошо. Мне нравилось так думать. Мне нравилось принимать мысленное участие в судьбе человека, которого мое воображение вдруг выхватило из гущи жизни. Не зная об этом человеке ничего, я наделяла его всем, чего, по моему мнению, ему недоставало для полного счастья, и расставалась с ним в тот самый момент, когда он, справившись с оторопью, собирался произнести слова признания и благодарности. Что я за человек! Участия мысленного, воображаемого во мне сколько угодно, а вот участием живым, поступками и делами, за которые только и полагается благодарить, я не могу похвастать. Будь наоборот, я была бы счастлива.

Скрипел снег. Вблизи фонарей пространство было желтое, а дальше быстро густел мрак. Парни катали на санках румяных, улыбочивых девушек. Если бы меня хоть одна живая душа позвала покататься, я бы позволила этому человеку умчать меня на край света. В этом предположении не было ничего невозможного, и все же мне следовало отнести его к разряду неосуществимых. А дома у меня тепло и уютно. Большая комната, толстые сырцовые стены довоенной, а, скорее, дореволюционной кладки, надежно хранящие зимой тепло, а летом живительную прохладу. Тихий чисто русский район старой одноэтажной застройки между базарами Госпитальным и Тезиковым. Царь, когда его войска пришли в этот край, повелел русским селиться и жить отдельно от узбеков. Удобства и водопровод во дворе. Водопровод – уже хорошо, не так давно мы поднимали воду из колодца. Многие из бывших моих соседей предпочли комфорт многоэтажек, я же сохранила верность старому очагу и, говоря по совести, не мечтаю о переезде.

Приданое мое, если все еще считать себя невестой, не богатое, но у меня не гипертрофированные потребности нынешних желторотых юнцов и девиц, которые, вероятно, до седых волос будут считать, что они облагодетельствовали мир своим в нем появлением, что все им очень обязаны, и «Папа, дай! Мама, дай!» будет естественно слетать с их уст до той самой поры, пока папа и мама будут иметься в наличии. У меня скромные потребности, в строгих рамках заработной платы рядового советского инженера, я и обшиваю себя сама - некоторые сгорают от зависти, так я это делаю, и из вещей ценных только позволила себе приобрести хороший проигрыватель, холодильник и швейную машинку. Остальное придет вместе с твердо обещанным всем нам ростом материального благополучия советского народа.

В отношении остального я не тороплюсь, тут я терпелива и бережлива, это как вам нравится. Не зануда, не брюзга. Не строю из себя обиженную, да и неудовлетворения особого в связи с этим никогда не испытываю, потому, что не завистлива и помню послевоенное время, совсем бедное и голодное, когда кусок хлеба был богатством нимоверно большим, застилающим белый свет. Никогда не испытывала уколов самолюбия из-за того, что не ем на дорогом фарфоре, не имею престижного фирменного шмотья. Я и пошью, имея перед собой образец из журнала мод – дай Бог фирмам сотворить такое! По другим поводам страдала, и жестоко, а вот людей с повышенным достатком, их умение этот достаток создавать, их умение опережать здесь время и нас, своих ближних, никогда не ставила на пьедестал. И, Боже упаси, никогда не завидовала им, не ставила себя на их место. И по той причине не ставила, что мне это было неинтересно. Более того, я не хотела знака равенства между собой и этими людьми – я бы стыдилась его.

Я обслужила бабушку и даже зубы не стиснула, привычно подложила под нее судно, потом судно вынесла. Вымыла руки, поужинала сама. Потянулась к дневнику и вот строчу, рада-радехонька: девственно чистая тетрадь, все – заново, все – как в первый раз. Растеклась мыслью и, кажется, тону в подробностях. Это потому, что я женщина. Будь я мужчиной, легко сосредоточивалась бы на главном. А главное – это новая моя работа. Я на новом месте первый день. И сразу столько впечатлений! Я не увольнялась, а перешла из отдела водохранилищ в научно-исследовательский. Водохранилища я проектировала пять лет и все это время отчетливо сознавала, что занимаюсь не своим делом. Я не загоралась. Мне было неуютно от соседства людей, которые знали и умели больше меня. Я постоянно чувствовала их крепкие плечи и острые локти, их скепсис в отношении меня. Заведующий отделом тоже не переоценивал мой вклад в общее дело и за пять лет лишь однажды прибавил десятку к наискромнейшему моему окладу: вместо ста рублей я стала получать сто десять. Какая разница, сто или сто десять? На эти деньги мог, и то весьма скромно, прожить только один человек.

Обычно мне поручали расчет самого неперспективного варианта, который заведомо не должен был пройти, и быстро ли я работала, медленно ли, придумывала или просто следовала инструкциям, это никого не трогало. Меня и не торопили никогда. Как инженер, я маршировала на месте. Что-то, конечно, приобретала, кругозор мой расширялся, но полезной отдачей была все более недовольна. Иногда про меня забывали, а я смотрела снизу вверх на людей, которые про меня забыли, гасила укор и не напоминала им о себе. Сами забыли, сами и вспоминайте! И все же упрека в недобросовестности я не заслужила. Потраченные впустую рабочие часы отзывались во мне болью протеста. Я считала, считаю и, наверное, умру с этой мыслью, что для человека нет на свете ничего более значительного, чем его работа. Ничто так сильно не обедняет его жизнь, как холодность и апатия в работе, как утрата личного интереса к ее результатам. По своим последствиям это даже более тяжелая

утрата, чем потеря близких, ведь она истончает нравственный стержень человека. Самовыражение как бы приостанавливается, значит, и сама жизнь теряет смысл.

Огромнен вред, который наносит нашему обществу оставшаяся неизменной со времен царя Гороха система должностных окладов. В самом деле, зачем стараться, что-то предлагать, повышать свой профессиональный уровень, если это ни рубля не прибавляет к должностному окладу? Хорошо, прилежно ли исполняются должностные обязанности или из рук вон плохо, зарплата от этого не меняется. В лучшем случае, добросовестность работника может стать причиной его выдвижения на вышестоящую должность, но в жизни это случается не часто. Минимум усилий, полное отсутствие инициативы и олимпийское спокойствие во всех ситуациях – вот что стимулирует стабильный должностной оклад. Обратитесь к работнику, всю жизнь сидящему на окладе, с самой пустяшной просьбой, и вы тотчас почувствуете, что внесли диссонанс в его размеренное существование. Он, конечно, играючи может сделать то, что вам нужно, но ничего не будет за это иметь дополнительно к окладу. Так стоит ли спешить и суесться? Стоит ли выкладываться? По его реакции вы тотчас убедитесь: не стоит. Что же, в таком случае, следует поменять? У нас в институте над этим почему-то не думают, поэтому яркая инициатива – редкий гость у нас. Но и в стране об этом не очень-то думают. Хрущев с Косыгиным заикнулись было об этом, но ничего путного у них не получилось.

Итак, мой переход был подготовлен претензиями к себе. Мне нравилась гидравлическая лаборатория, и я перешла. Искусственные русла рек, миниатюрные плотины, туннели из пластмассы, извечно интересующая человека проблема взаимодействия гидротехнических сооружений с водой – все это теперь мое. И своими я теперь считаю воздушные модели, где макеты сооружений обтекает не вода, а плотный воздушный поток с зажженными – чтобы движение воздуха было зримым – опилками. И мои теперь плексигласовые модели строительных конструкций, которые в лучах поляризованного света дают полную и достоверную картину поведения под нагрузками. Мои теперь прессы, испытывающие на прочность все то, из чего строят. Я и не думала, что здесь такое обширное и замысловатое хозяйство. Все правильно: чем чаще человек проверяет себя, чем чаще себя подстраховывает, тем реже спотыкается. Тем меньше на нем синяков и шишек. Надо мерить, мерить и мерить, а потом уже резать. Меня привлекало здесь то, что сотрудники не приклеены к своим канцелярским столам. Модели требуют самых разносторонних навыков. Я видела в руках у инженеров лопату и пилу, сверло, отвертку и паяльник. Комфорта, правда, нет и в близком времени не предвидится. Но это разве трудности? Дитя войны, разве могла я знать, что такое комфорт?

Сотрудники разглядывали меня с любопытством, но уж очень скоро оно гасло. Пришлось опять убедиться, что я не располагаю к себе людей. Никто мною не заинтересовался. Если что и западает людям от первого общения со мной, так это моя угловатость. Я расту в коллектив исподволь, медленно-медленно. Как будто сквозь асфальт прорастаю – как та напористая травка, которой асфальт не помеха. Сходиться с людьми накоротко для меня всегда не просто. То я распахиваю душу настежь и тянусь буквально ко всем, то, получив толчок и увидав (или вообразив) нелюбовь к себе, замыкаюсь. Людям же, чаще всего, не нужна ни моя не знающая границ откровенность, ни моя обидная для них настороженность сродни отчужденности. В наш век высоких скоростей и таких же быстротечных чувств в цене выдержка и ровные, спокойные отношения, снимающие нервные нагрузки.

Мне отвели столик в тесной комнате с некрашеными дощатыми стенами. Спартанская обстановка царила в этом деревянном терем-теремке. Заведует лабораторией Ульмас Рахманович Раимов, доктор технических наук. Сорокалетний доктор – это личность. Ульмас, в переводе с узбекского, – огражденный от смерти. Это человек, которому не суждено умереть. Самобытное имя. У нас, у русских, нет имен с таким образным и глубоким философским подтекстом. Может быть, Раимову действительно суждено себя обессмертить? Кажется, я начинаю гордиться тем, что я из его лаборатории. Воображать изволю. Побольше патриотизма, девочка! Он способствует гордой посадке головы и придает взору яркую проникновенность. И потом, патриотке никогда не придет в голову, что за свой труд она получает слишком мало.

Ульмас Рахманович самолюбивый человек и, как мне показалось, импульсивный. Тут могут быть и крайности, например, невнимание (пренебрежение?) к мнению подчиненного. Но не скоропалительна ли я в выводах? Не видела еще ничего, не познала лабораторную жизнь, а обобщаю. Роста он среднего, склонность к полноте прослеживается. Рыхловат. Вероятно, для него полет мысли – единственная и достаточная форма самовыражения. Должного внимания своему телу, своим мускулам он не оказывает, утреннюю зарядку игнорирует. Как только я сказала, что хотела бы работать в его лаборатории, он загорелся, прочел энергичную лекцию о том, какие важные дела вершатся под его началом, и заявил, что я никогда не пожалею о своем решении. Он воодушевился и говорил красиво. Умело подавал товар лицом. Словно его предки много и успешно торговали, и ему передалось их умение. Он и о трудностях говорил таким тоном, словно я рождена на свет для их преодоления. Сам пошел к директору, сам попросил. Это меня тронуло. Я не избалована участием, обо мне редко заботятся. Я стала благодарить, и он удостоил меня взглядом, каким обычно награждают льстецов люди, которых коробит громкое подчеркивание их достоинств. Это еще более возвысило его в моих глазах.

Сегодня я не работала. «Приглядывайтесь, вживайтесь!» – посоветовал Раимов. Этим я и занималась. В девять часов, после удара молотка по рельсу, Раимов собрал сотрудников и представил меня: «Инженер Вера

Степановна Пашкова! Жалуйте и не обижайте!» Он почему-то счел нужным добавить: «Не обижайте», словно разглядел мою легкую ранимость. Я, действительно, часами не нахожу себе места от одного злого, неуважительного слова, пусть даже произнесенного ненароком. Я и в детстве долго не прощала обидчиков.

- Вашим непосредственным руководителем будет старший инженер Борис Борисович Басов, в простонародье Бэ-Бэ, - объявил Раимов.

Басов от панибратства поморщился, но руку протянул мне тотчас. Он улыбнулся, словно так улыбнулся и открыто, как будто давно знал меня и давно симпатизировал. У него были синие веселые задорные выпуклые глаза, и в них поблескивало, посверкивало что-то заговорщическое, что-то адресованное мне одной. Я, кажется, смутилась, потупила взгляд. Я бы дала ему лет тридцать пять. «Прыток, но мил!» – заключила я. И еще я подумала о нем, что он из тех затевал, на которых не обижаются, даже когда они дают маху. Первое, что я думаю о новом человеке, почти всегда мысль верная и сбывающаяся, я убеждалась в этом десятки раз. Я почему-то удивительно быстро схватываю суть человека.

Да, рукопожатием Бориса Борисовича официальная часть моего представления коллективу завершилась. Басов сказал: «Будем жить дружно, у нас так заведено. Постарайтесь вникнуть вот в это». – И он протянул мне рулон чертежей. Когда он сказал про дружбу, кто-то за моей спиной выразительно хмыкнул. Я обернулась, но у всех было одинаково неопределенное выражение лиц, и я не выявила автора громкой ухмылки. Басов ушел, и меня окружили сотрудники. Парней было всего двое, и оба зеленые специалисты, зеленее меня. Они надеялись увидеть красотку и не скрывали разочарования. Назвав себя, они занялись своими делами. Я поняла, что обращаться ко мне они будут только по производственным вопросам, и не часто. Хорошо же!

Девушки тоже быстро прошебетали свои имена и сели каждая за свой столик. «Варвара Федоровна Кругляк! – запомнила я, потому что старалась запомнить. – Инесса Альбертовна Симонян!» Большого, к сожалению, моя память вместить не сумела, я непростительно долго запоминаю имена. А людей коробит безликое «вы» или удручающе-громкое «ты». Ласково произнесенное имя – это как прикосновение доброй, дружеской руки, как поглаживание по головке. Варвара не отличалась красотой. Продолговатое, грубой выделки лицо ее было попорчено какой-то мелкой рябью. И я увидела в ней подругу по несчастью (не слишком ли скоропалительный вывод?). Роста она высокого, но какая-то угловатая, несобранная, обособленная. Очень скоро мне бросилась в глаза ее самопогруженность, следствием чего становилось ее полное пренебрежение к нам, грешным. Вместе с тем, она не была ни замкнутой, ни нелюдимой.

Инесса же, хорошенькая и ладная от природы, была прямой противоположностью Варваре и мне. Она лелеяла себя и выглядела отменно. Ей можно было дать двадцать лет, но не двадцать шесть. Везет же некоторым: что ни линия, то броскость и совершенство. Дотронься, погладь и убедись: да, загляденье, да, тебе до таких линий и пропорций, как до неба. Я подумала, что мы подружимся. В глубине души мне очень хотелось этого. Возраста мы примерно одного, и, как я скоро себе уяснила, обе эти женщины тоже не замужем. Столик Инессы рядом с моим, только мой в глубине комнаты, а ее – у окна. Я любовалась ею в течение всего дня. Ее лицо обогатили нежные тона Востока. Мать у нее памирская таджичка (а на Памире очень много красивых людей), отец – армянин, из тех открытых миру людей, которые могут пустить корни где угодно, но о своем армянском происхождении не забывают никогда, ставят его высоко-высоко. Ибо оно, как чаще всего оказывается, и есть стержень их натуры. На Инессе был серый свитер грубой вязки. Но и обыденная эта хламида шла ей, прекрасно оттеняла осанку и прочие достоинства фигуры. Счастливая, она могла еще лет двадцать не гоняться за дорогими вещами – они не делали ее лучше.

Я вглядывалась в чертежи и слушала Инну, которая вполголоса сообщила мне массу интересных сведений. Горячо она говорила, азартно, эмоциям в ней было тесно. Выговорившись, перешла к вопросам.

- Ты к нам сама явилась?

- Сама. Подсказок не было.

- И то, что мы на краю города, тебя не смутило? Ой, смотри, ой, смотри! Боюсь, не захочешь вращаться в здешнюю почву. Здесь один Ульмас глубоко пашет. Ну, Бэ-Бэ пытается сказать что-то свое, и умеет сказать, но из-за широкой спины Ульмаса его голос не всегда слышен. Он обижается, ерзает, нервничает. От их соперничества подводные течения разные. Хочешь сны посмотреть не на темы нашей лаборатории, – держись от этого подальше.

«И здесь, как везде, - с тяжким вздохом подумала я. - Подводные течения! Но как это, Инночка, держаться подальше от того, чем вы живете и чем теперь буду жить я? И что может быть нагляднее и интересней подлинного проявления человеческого естества?»

Я кивнула, настраивая ее на продолжение. Я давно уже не противоречила по мелочам, не озвучивала свое мнение сразу и громко. Не надо препятствовать человеку быть самим собой. В состоянии искреннего самовыражения он просто чудо, смотри и любуйся, и радуйся или жалея, что ты не такая.

- Ульмас жутко толковый, но к нему трудно привыкнуть. Он еще и жутко непоследовательный, импульсивный. Настраиваешься на одно, вдумываешься, раскладываешь по полочкам, а он уже с другим прибегает. По-твоему, непредсказуемость – это хорошо или плохо? – вдруг спросила она.

- Лучше наезженной колеи, - сразу выдала я.

- Слушай, уж не энтузиасточка ли ты? – Инна кинула на меня быстрый испытующий взгляд, и я мгновенно надвинула на лицо маску бесстрастности. Моя заурядная внешность – прекрасный щит, преграждающий доступ в душу. Я почувствовала, что подвижнице рядом с собой она бы не обрадовалась.

- Что ты! Я, как все, - заверила я.

- Бэ-Бэ тоже толковый, но вынужден пребывать в тени шефа. А он страсть как не любит поддерживать и одобрять. Он о своей дудке мечтает. О такой дудке, которую бы слышали далеко окрест.

- Двум ярким индивидуальностям в одной берлоге временами становится тесно? Несовместимость начинает обретать черты соперничества?

- А ты резво сечешь! – пропела она не без удивления. – Бэ-Бэ мечтает о самостоятельности. Но все это не на поверхности, и упаси тебя бог сунуться между этими слонами в момент выяснения отношений. Сгоришь без дыма. Но что это мы торопимся, вперед забегаем с прогнозами, от которых за километр пахнет сплетней? Неразумно это. Ты замужем?

- Пока никто не отважился взять меня замуж.

Инесса опять кинула на меня быстрый пронизывающий взгляд, словно подтверждая уже сделанный ею вывод о суровой естественности моего одиночества.

- Свобода – премилая вещь! – сообщила она, намекая, что у нее было достаточно возможностей обзавестись спутником жизни, но она не нашла, на которой из них остановиться. Я опять пытливо на нее посмотрела. Ой ли? Как, все же, мы хотим казаться лучше, лучше, лучше! Мы просто не можем без этого!

- Ты где живешь? – спросила Инна.

- Улица Буденного. За Госпитальным базаром. Со времен царя-батюшки – чисто русский район. Старая застройка: одноэтажки, садики. Салар течет неподалеку, Тезиковка рядом (Тезиков базар был знаменит своим необъятным воскресным вещевым рынком). Глухомань, если иметь в виду будни.

- Совсем не знаю этого района. А я обитаю близ консерватории. Мать пробила кооператив. Без ничего, можно сказать, остались, зато две комнаты в центре. Роскошь, правда?

- Завидую, - сказала я, хотя, кажется, начисто лишена этого чувства, источника всех пороков и зол, так часто сворачивающих человека с пути истинного. Почему мне должно быть не по себе, если кому-то хорошо?

Слушая Инну, я наблюдала за другими. Варвара читала «Новый мир», опустив журнал в средний ящик стола. Когда кто-то входил к нам, она заученным движением вдвигала ящик в стол и нажимала клавиши калькулятора. Нас она не стеснялась. «Система должностных окладов, - подумала я. – Оплачивается время, проведенное на работе, но не результат». Я подумала, почему никто не сделает ей замечания. Понятно: нас это не касается. Ну, а лично меня? «Я новенькая, - сказала я себе, - я здесь пока без права голоса». Начну выступать и сразу стану персоной нон грата. Только не это. Не хочу, чтобы от меня отворачивались.

Одного из ребят звали Гумаром, фамилия его была Бердыев. Вот кто маялся, вот кто не знал, куда себя приткнуть! За столом, заваленным чертежами, он не мог просидеть и пяти минут. Он не упускал случая, чтобы вклиниться в разговор и вставить свое слово. Всякий раз, когда «Маяк» передавал последние известия, он включал репродуктор, а когда они кончались, выходил во двор покурить. И не мерз, ведь, в своем сереньком румынском пиджачке, выстаивая на морозе и десять, и двадцать минут. Может быть, он такой неприканный после праздников?

- Займешься Акбулаком? – полюбопытствовала Инна. Я развернула чертежи. Да, это был Акбулакский туннель. Река протекала прямо над месторождением цветных металлов, над массивным рудным телом. Вот пятикилометровый туннель и отведет ее в сторону, позволит спокойно произвести вскрышные работы и заняться добычей. Моделировался только участок перехода от напорного режима к безнапорному, то есть водобойный колодец. Поток вырывался из напорного туннеля с силой струи, бьющей из брандспойта, а ему надлежало уgomониться, войти в безнапорный туннель робко и плавно.

- Покажи мне эту модель! – попросила я Инну. Мы оделись и пошли в дальний угол большого двора. Снег искрился. Какая сейчас веселая толчея на школьных переменах, как дружно летят снежки в стайки девчат! Моя модель деревянная, выкрашенная в броский синий цвет. Над ней легкий шиферный навес. Придется одеваться потеплее.

- Теперь все это твое! – объявляет Инна. – Извини меня, но я не вижу воодушевления. Тут в углу каморка с печуркой для обогрева души и озябших рук. Дровишек, слава Богу, предостаточно. Обживайся, привыкай! Дело, когда в него вникнешь, живое, интересное! Не канцелярщина, одним словом.

Она засемила назад, в тепло. Я поехала и мысленно проследила путь воды. Новизна предстоящей работы и влекла, и настораживала. А что? Могла и не оправдать доверия. Я не чувствовала себя достаточно подготовленной для модельных исследований. Я умела хорошо делать только то, что хорошо знала. Но отступить было поздно, да, собственно, и некуда. И неумно было отступать. Освоюсь, никуда не денусь!

Когда я возвращалась в наше неказистое деревянное строение, захотелось подурачиться, крикнуть:

- Терем-теремок, кто в тереме живет?

И ответить себе изменившимся голосом:

- Я – мышка-норушка!

- Я – лягушка-квакушка!

- Я – лисичка-сестричка!

Но я не позволила себе даже минутного возвращения в детство. Увидят, засмеют, а потом будут потешаться по инерции. Та же девчужка, что была в рельс утром, снова выбежала, улыбнулась неизвестно чему и ударила молотком по звонкому металлу. Перерыв на обед. Славно она улыбнулась. Счастливая, ей только восемнадцать! Как бы я хотела родиться позже, чтобы меня окружала другая жизнь!

Обедала я с девушками. Столовой, оказывается, поблизости не было. Девчата взяли меня на свое иждивение, и мне было неловко. Я почти ничего не ела, налегала на чай.

- Талию бережешь? – сказала Инна. – Эх, кто бы мне испортил талию!

- Прибедняешься, милая! – произнесла Варвара нараспев, словно вразумляла. «Язва!» – подумала я про нее. У девчат все организовано просто и мило: каждая приносит из дома еду, а дежурная кипятит чай. Дежурила Инна. Грязную посуду она убирала и мыла с почти инстинктивной брезгливостью, беря тарелки двумя оттопыренными пальчиками и неумело оглаживая их тряпочкой, смоченной в теплой воде. Я поняла, что дома за нее это делает мать, и ненавязчиво помогла ей. Она просияла.

За обедом девчата щебетали мило и резво. Парни и кофточка, фильмы и диски, гастроли и праздники переплелись в нечто невообразимое и неразделимое, громкое и большое. Страсти и восторги перемешались. Неловко признаться, но мне не дали и рта раскрыть. Я сидела, слушала и улыбалась. Вот оно, обаяние непосредственности! Меня в кои-то веки не стеснялись, не сторонились. Я почувствовала прилив благодарности и сказала себе, что буду делать этим людям только хорошее. Впрочем, разве когда-нибудь я поступала по-другому? Разве когда-нибудь я пакостила ближнему своему? Обижала, унижала, обманывала, подводила, не укладывалась в договоренности? Только по неведению, только нечаянно – и всего в нескольких случаях, которых буду стыдиться, вероятно, до конца дней своих.

После обеда, за чистым уже столом, Инесса и Варвара сражались в шашки. Ну, это было представление, театр двух великих актрис! Даже мне, наблюдательнице сторонней и к шашкам равнодушной, в эти минуты было не двадцать восемь, а восемь, и им - столько же. Дети малые резвились предо мной, выясняя на полном серьезе, кто из них лучше.

- И-и-и! – обалдело пищала Инесса, ожидая от Варвары неверного хода и подталкивая ее на ошибку массирующим психологическим нажимом. И Варвара делала-таки не лучший ход. Инна вскакивала ногами на стул, прыгала и хлопала в ладоши. Вот это темперамент! Никогда не видела ничего подобного. Кто сказал, что взрослому недоступно возвращение в детство? Чепуха, и Инесса это блистательно доказывала. Варвара в экстазе не вскакивала на стул. Но ее радость после каждого промаха соперницы была не менее откровенна. Когда она добивалась преимущества, ее маленький носик с крапинками веснушек странно съеживался еще, приобретая назидательную остроту. Ну, почему эти славные девушки не замужем?

Кроме Инны и Варвары, за доску не садился никто. Поначалу я ждала, что и мне предложат сыграть партию. Не тут-то было! Им нравилось играть друг с другом. Нам же оставалось в роли зрителей любоваться их ребячеством, полным азарта. Никто из зрителей не заявил: «Играю на победителя!» Кончив в две минуты партию, они начинали новую, а после проигравшая заученно угрожала: «Сейчас ты у меня заплатишься! Ты взяла коварством, но и я кое на что способна! Ходи, сделай одолжение, и, пожалуйста, не думай, как слон!»

Мне было интересно.

3

Не люблю выходные. Выходной – это западня, из которой освобождает только понедельник. Я остаюсь наедине со своим одиночеством, и оно, вдруг ставшее большим-большим, наваливается и с садистской изощренностью берет меня в оборот. Отовсюду раздаются вопросы, обижающие и унижающие меня своей вопиющей откровенностью. У меня нет на них ответа. И уйти некуда. Нечем заслониться, и в этом вся беда. Все принимаю и терплю. И готова криком приветствовать проблеск зари в первый день новой недели. Ура работе! Ура людям, которые одним своим присутствием рядом задвинули мое одиночество хотя бы за угол ближайшего дома. Я боюсь одиночества, я до сих пор не научилась жить с ним вместе и ладить с ним. Оно сильнее меня и жестче. Оно как надзиратель, а я рядом с ним как осужденная на муки вечные. Оно навязывает себя, а я обязана терпеть. Так, наверное, люди добрые и совестливые терпят совершенно чуждую им по духу хамоватую родню, с которой их соединяет только общая жилая площадь.

На работе все просто, привычно: заняты и голова, и руки. Воображение выключается, и я становлюсь усидчива и работоспособна. В субботу же начинается мое мученичество. Не сразу – сначала я балую себя лишним часом сна. Я смотрю какие-то экзотические, неземные сны, и часто бывают интереснейшие продолжения, как раз такие, которых я хочу. Продолжения, которые я хочу, нравятся мне особенно. Почему-то мне снится то, чего никогда не бывает в жизни. Меня окружает мир призраков, я повелеваю бесплотными людьми, от которых на землю не падает тень.

Природа не снится мне совершенно, только люди, только города, только события. И вот еще чем дороги мне сны: случается, что во сне меня любят. Обаятельные мужчины – мужчины, которых коснулась печать совершенства, ухаживают за мной, и я не холодна с ними, не строю из себя недотрогу. Напротив, напротив! Я предвкушаю, я трепещу. И вдруг все пропадает, пробуждение возвращает меня в суровую реальность. Четыре блеклые стены, пол и потолок, и кровать бабушки за ширмой, ее неровное, тяжелое дыхание. Хоть вой – ничего не изменится, луча света не будет. Я кусаю губы, но и это ничего не меняет. Тогда я встаю и покорно отдаю себя своему лютому врагу и ненавистному сожителю – одиночеству. Лучше сразу не питать иллюзий, тогда не так горьки будут слезы разочарования.

Делаю перед зеркалом утреннюю гимнастику. Не даю себе поблажки, разминаю мышцы живота, спины, ног, рук, заставляю кости и суставы работать с хорошей нагрузкой. А в шепот одиночества вкрадываются интонации преданной подруги: «Рожа-рогожа, никуда не гожа! И фигура-дура, папина халтура!» Но я обязана не реагировать. Пусть одиночество издевается надо мной, мне легче не отвечать. И я не прерываю разминку, пока часы не оттикивают положенные полчаса. Разогревшись, взбодрив мускулы и кровь, погружаю себя в нудную и нескончаемую домашнюю работу. Кормлю бабушку и прибираю за ней. Готовлю, мою, стираю, глажу, навожу уют, хотя с лежачей бабкой это втрое труднее, чем если бы я заботилась только о себе. Самое тяжелое – это выкупать старуху. Это испытание выпадает мне раз в неделю. Сама она беспомощна и едва способна ложку до рта донести. Потом – магазины, базар, иногда и парикмахерская. Для кого? Да для себя, для кого же еще? Потом – швейная машинка. Шить я люблю, это для души. Это уже отдохновение. Но одиночество не отодвинешь и стрекотом швейной машинки. Оно не хватает меня за горло сразу, оно не так воспитано. Оно вовсе не примитивно. «Ну, а с кем ты проведешь вечер? – спрашивает оно вроде бы совсем ненавязчиво. – Предлагаю в партнеры себя – со мной не соскучишься! Я – раз, я – два, я – три! Продано!» И громкий, торжествующий, душераздирающий хохот или язвительный смех исподтишка, еще более обидный.

Не обмануть ли его величество? Афиши извещают о гастролях труппы Образцова. В кинотеатрах очереди на новую комедию «Я женюсь». Ни разу не была во Дворце дружбы народов, а это, говорят, нечто такое, чему и определения не дашь, слова тускнеют рядом со зрительным образом. Правда, это недавно сотворенное архитектурное чудо почти всегда на замке, хотя ежедневная его эксплуатация обходится в восемь тысяч рублей. Только у нас можно спокойно выкладывать каждый день такую уйму денег и вешать на двери замок. Так куда пойти? Но как я в свои годы пойду одна? Не школьница давно и не студентка. Я ходила одна в наши распрекрасные зрелищные заведения. Очень грустно. Одна я словно отщепенка какая-то. И вот вокруг люди, насыщенная чувственностью человеческая гуща, но почти всегда при девушке улыбчивый юноша, а при юноше – девушка, одна я сама с собой, и у меня от этого раскалывается голова, мне преотвратно. Нигде я так не одинока, как в толпе, в ее давящем круговороте. Нет, уж лучше дома куковать. Можно включить телевизор или поставить пластинки. Наконец, можно затопить печь и сесть против открытой дверцы. Пламя всегда такое разное, трепетное. Смотришь на огонь, ощущаешь его вечность, которая сродни звездному пламени, и заряжаешься спокойствием.

С огнем можно и поговорить, он все-все понимает. Только телевизор вещает и вещает, не позволяя вставить ни слова. С бабушкой тоже не поговоришь. Иногда мне кажется, что она будет жить вечно. Вот это организм! Верю, что она в зрелые свои годы по приставной лестнице носила на чердак пятипудовые мешки с зерном. Потрясающая жизнестойкость. Только у нее все чаще отказывает память. Она говорит невпопад и не о том, о чем я спрашиваю. Забыла, сколько у нее детей и кто из них жив, а кто умер. Дольше держатся эпизоды детства, но и их стирает безжалостный склероз. Вот во что превращается человек, когда чрезмерно задерживается на этом свете. Глядя на нее, я понимаю, что слишком задерживаться на этом свете не есть хорошо, и себе такой судьбы не желаю. Семьдесят лет – это для меня, восемьдесят лет – уже не надо!

Отвечать на вопрос, почему бабушка оказалась под моим попечением, значит вести с собой дискуссию о том, что такое совесть и что такое человеческая неблагодарность. По всем законам жизни, за старухой должен был присматривать кто-либо из ее детей. Но как прикажете поступить, если это не по ним? Вообще, современный человек слишком эгоцентричен, взгляд его с нескрываемой любовью обращен внутрь себя: он себе нравится, единственный и неповторимый. И что из того, что другим от этого холодно? Когда бабушка двигалась и выполняла домашнюю работу, - а без дела она не сидела и минуты, и работать для нее было так же естественно, как дышать и жить, тогда дети наперебой зазывали ее к себе, и она жила то у одного, то у другого. Но стоило ей поскользнуться на ровном месте и поломать шейку бедра, дети начали ссылаться на свои недуги, на крайнюю занятость, она стала никому не нужна.

Прикованность к постели резко ударила по ее памяти, и, покочевав по детям, она, всеми отвергнутая, неожиданно осталась у меня. Я единственная не запротестовала, не подняла на нее руку. А она не подарок, несет несуряцицу и ходит под себя, если я опаздываю с судном. Главное же, не поднимется она уже. Законами природы не предусмотрено, чтобы она поднялась. И врачи в один голос заявляют: не поднимется. Моему отцу нужна была здоровая бабушка, но не старуха, прикованная к постели, дурно пахнущая и не помнящая своего прошлого. Ни он, ни мать часами не подходили к ней, когда та слезно молила дать ей горшок, принести чаю. Мать издали орала ей: «Белый свет застишь! Сгинь, окаянная!»

А если я в свой черед так поступлю с ними, когда (не дай Бог) болезнь пригвоздит их к постели? Нас, конечно, сия доля минует! А если нет? Однажды старухе вдруг была дарована минута прозрения. Возвращение в дурную явь поразило ее, и по ее морщинам покатались беззвучные слезы. Я тоже заплакала. Я готова была сказать родителям слова, которые дети никогда не говорят им. Но сдержалась. Бесплезно было говорить человеческие слова людям, из которых алкоголь давно вытравил стыд. Я стремглав выбежала на улицу, поймала машину и перевезла старуху к себе. И вот она лежит у меня, чистая, ухоженная, сытая, и я замираю от счастья, когда в новый момент прозрения она говорит:

- Вера, какая же ты у меня хорошая! Пошли тебе Бог мужа, достойного тебя! Пошли тебе Бог счастья полной мерой!

Быть хорошей хотя бы для одного человека – это же благо великое! Я подхожу и обнимаю ее, и она затихает. Но незаметно сумерки снова окутывают ее, и она начинает звать детей, которых давно уже нет, сгинули они кто на войне, кто от рук сталинских костоправов, кто естественным путем, а у меня спрашивает: «Ты кто?» Я для нее уже не Вера, внучка ее любимая, я для нее неизвестно кто, мельтешение воздуха. И все равно одно ее доброе сказанное мне слово все во мне переворачивает. А матери и отцу я не судья. Не знаю, правильно ли это и права ли я, но точно знаю – не судья. Один Бог им судья, а более никто не в состоянии повернуть их жизнь в праведное русло.

Наверное, я приютила бабушку не из одного сострадания, но и из страха перед одиночеством. Для моей расстроенной психики необходимо присутствие рядом человека, о котором надо заботиться. Ночью я слышу ее дыхание, и мне спокойно. У меня всегда был сильный страх перед ночью. Ночной мрак неожиданно насыщали призраки и злодеи, и все недоброе, что есть в этой жизни, готовилось обрушиться на меня из тьмы, и я съезживалась от полнейшей беспомощности и трепетала, ожидая скорой расправы. Присутствия старухи было достаточно, чтобы ночные страхи отступили. Но что это я все о себе и о себе? Неприлично это, и может показаться, что я влюблена в себя. Самые нелепые и совсем не возвышенные мысли посещают меня. Мешают, путают, расстраивают. Не далее как вчера вечером со мной произошло вот что. Часов в девять я возвращалась из бани, распаренная такая, розовотелая, размягченная и в духе. Ночь, снег скрипит, молодежь резвится, саночки скользят туда-сюда. Не стало во мне обособленности от всего того, что было вокруг, отрешенности от простых мирских радостей, словно самой природой предназначенных не для меня. Вдруг – оклик залихватский сзади: «Эй, красивая! Садись, подвезу!»

Я обернулась. Парень лет двадцати пяти догонял меня с пустыми санками. Он был пригож, и мне захотелось приключения. «Подвези!» – крикнула я с задором, с вызовом. Но свет уличного фонаря уже упал на мое лицо, уже выхватил его из мрака. И парень остановился, не добежав до меня. Улыбки как не бывало, одна оторопь. О, как он жалел уже о вырвавшейся вольности! Как корил себя за нее!

- Подвези! Покатай! – повторила я, настаивая на выполнении обещанного.

Секунду-другую он мучился, соображая, как ему поступить. Но он не привык насиловать свою волю. Я прекрасно его понимала: с какой стати? «В следующий раз!» – выдавил он и опрометью – назад, подальше от меня. Эпизод, собственно, не открыл мне ничего нового. Но сколько уже было и таких эпизодов, и ранивших более жестоко! Дома я разрыдалась. Маленькая, но разрядка.

Я продолжаю знакомиться с лабораторией. Ни Раимов, ни Бэ-Бэ еще не спрашивают с меня работы. Дают освоиться. Кое на что я уже обратила внимание. Ульмас Рахманович ведет себя как хозяин, Бэ-Бэ в его присутствии такой же исполнитель, как и прочие. «Да, Ульмас Рахманович! Интересная мысль, Ульмас Рахманович! Мы это обязательно проверим, Ульмас-ака, не сомневайтесь!» – заверяет он. Своими предложениями с ним не делится, свое мнение держит при себе. Но стоит только Раимову уединиться в кабинете, тут же вносит коррективы, все переиначивает и не оставляет нас в покое до тех пор, пока не будет сделано так, как он велел. Необычная форма соперничества. Почему бы не обменяться идеями, не взвесить их сообща, не прийти к общему знаменателю? Я уже вижу, как много работы оказывается пустой и ненужной только потому, что мы вынуждены выполнять противоречивые указания своих руководителей. Лично я мириться с этим не собираюсь. Не люблю пустой работы. И потому не люблю, что слишком много ее переделала. Обществу это тоже не нужно. Настроение многих инженеров у нас далеко не рабочее. Показного усердия сколько угодно, а душа в работу не вкладывается, душа не при деле.

Гумар, например, стелит под чертежи свежую газету и прочитывает ее всю, до последней строчки, передвигая чертежи и бумаги с места на место. Как только Варвара осилила «Новый мир», его перехватила Инна. Тактика чтения та же: выдвигной ящик письменного стола. Маргарита, или Марго, молоденькая девчушка, отмечающая ударом молотка по рельсу начало, обеденный перерыв и конец рабочего дня, вчера пришла расфранченная, в шелковом облегающем платье, и два часа лепила прическу перед осколком зеркала. Напудрилась, подчеркнула веки, ресницы, и добилась почти кукольного лоска, почти манекенной навязчивой броскости. Вся ее милая привлекательность осталась погребенной под мощным слоем парфюмерии; она прибавила к своим лучезарным годам минимум пять лет. В уличную девку превратилась – и была собой довольна. Это состоявшееся на наших глазах мгновенное повзросление веселой девочки я посчитала вопиющей бескультурностью. Но Инесса и Варвара, руководившие доведением юной Марго до высоких французских

стандартов, считали, что потрудились на славу, и потирали руки, довольные. Маргарите наперебой давали советы, что говорить и как себя вести, и только Гумар дал совет единственно разумный: «Пожалуйста, не позволяй своему ухажеру ничего лишнего».

- Ты работай, работай! – осадила его Инесса. Марго не стала красивее. Обнажилась чувственностью, голая и грубая. Скромность отпрянула и теперь, как бедная родственница, отсиживалась где-то на задворках. Неужели скромность ей помеха? И то правда – от человека, побывавшего во Франции, я узнала, что француженки своей парфюмерией почти не пользуются, уповают на свое естество, зато ее прямо обожают красотки, обслуживающие тамошние публичные дома.

Макс, слонявшийся без дела лаборант одного с Марго возраста, соизволил заметить: «Марго, если бы ты так постаралась для меня, я бы оценил. О хате кто побеспокоился, ты или он?»

- Пошляк! – бросила Инесса.

- Я за жизнь говорю, - позволил себе обидеться Макс, - а вы здесь чистюль из себя строите. Затуркали вы меня. Чем я плох для этой телки? Марго, подтверди, что я тебе симпатичен. Ну, зарплата невелика, так и у тебя такая же. Чем мы не два сапога, которые пара? – Не дождавшись ответа, он замурычал: «Как у нас, как у нас поломался унитаз!»

- Максик, отшлепаю! – пригрозила Инесса. Этого ему и было надо. Он хмыкнул, приосанился, сделал глубокий вдох, выпятил челюсть и загнусавил:

«Эй, чувак! Не пей воды из унитаза!

Там может плавать всякая зараза».

- Кретин! – завопила Инесса и швырнула в него скомканной газетой. Он ловко увернулся, воспроизведя движение одного из современных танцев, и пропел: «Извините, мадам! Заменить ли мужа вам?» Он совсем распоясался.

- Бреют? – спросил Гумар.

- Бреют, но не чисто. – Макс давал понять, что не заслужил такого к себе отношения. Я рассмеялась. Мальчишка он еще, но пытается громко подать свою сексуальную озабоченность. Мы для него слишком стары, даже его ровесница Марго. Девочка, на которой он остановится, еще заплетает косички, носит пионерский галстук и не оглядывается на вредных мальчишек. Они ей пока без надобности.

Инесса что-то у меня спросила, и я, воспользовавшись этим как предлогом, пригласила ее к себе. Замерла в ожидании ответа. Мне казалось, что от ее слов зависит многое. «Нет, - сказала она после паузы, которая должна была означать, что она обдумывает мое предложение. – Извини, не получается. Я заочно учусь в институте иностранных языков и задолжала контрольные. Надо поднапрячься. В другой раз, ладно?»

Отказалась, но не обидела. И это надо уметь. Она, конечно, могла пригласить меня к себе, но не сделала этого. Наверное, в той жизни, которую она ведет, трудно выделить место и время новому человеку, да еще невзрачной женщине. Если мы и подружимся, то не скоро. Она о себе высокого мнения. Хотя, взгляд на себя снизу вверх – что же в этом плохого? Наверное, все хорошенькие о себе высокого мнения, и только такие, как я, не знают, для чего рождены на белый свет, и постоянно о себя спотыкаются.

Одинока, одинока, одинока. До каких пор? Вчера, сегодня, завтра – всегда? До падения занавеса? Не согласна. А кто спрашивает? Где он, друг, товарищ и брат, который без меня не может? Нет его. Его нет на всем огромном пространстве, которое окидывает мое око. Только в моем воображении он есть, но это с некоторых пор не согревает. Согреться бы, оттаять, задышать полной грудью. Воспрянуть. Но, видно, не с моими данными соваться в калашный ряд, из которого только и выбирают себе невест современные мальчишки, ужасно привередливые. О, как они мнят о себе, как много мнят! И что делать тем, кто недотягивает до их высоких планок? Кто скажет?

4

Опять долго не садилась за дневник, который начала с чистой страницы. Общая апатия: ничего не хочется, все вокруг сумеречно, и знаешь, что если жизнь и способна на что-то светлое, то не для меня. Потом все же вернулась потребность к самоизлиянию, и я опять откровенничаю с собой, за неимением подруги. Спешу выразить себя, сбиваюсь, путаюсь, сумбурю, и после нескольких часов самоуглубления приходит изнеможение, как от жаркой работы, когда в короткий срок переделываешь массу неотложного. И так, три недели я обходилась без самоанализа. Между тем это были неплохие недели. Каждый день я что-то открывала для себя. Раимов несколько раз поручал мне пускать воду. Он контролировал буквально каждое мое движение, каждый отсчет по пьезометру, был придирчив необыкновенно. Взбелениться было можно, как он был придирчив. Я же чувствовала себя превосходно и радовалась, что так быстро приспосабливаюсь к новой работе. Собственно, то, что я сейчас делала, доступно и технику, но если постоянно сосредоточивать на этом внимание, непременно впадешь в скептицизм.

Раимов дал тысячу и один совет, мыслил вслух, чтобы мне был понятен ход его умозаключений. Признаюсь, я не ждала от него столь плотной опеки. Это назойливо и непедagogично. Зачем ему работники,

начисто лишены самостоятельности? Но как он глубок, как умен! Пока я выполняю все его указания. Лишь одно его указание показалось мне вздорным для человека его ранга. Я установила нивелир не на обычном месте, а метрах в пяти от него, и он в резких тонах попросил вернуть инструмент на прежнее место. Он сказал, что потратил день на поиски лучшей нивелирной стоянки, и нельзя так беззастенчиво искажать результаты опыта. Протест созрел во мне в мгновение ока. Я даже не успела приказать себе: «Сдержись, остановись, да что ты!» Я вперила в шефа взгляд, зеленый от злости. Он не шутил, он ждал немедленного исполнения распоряжения.

- Придираетесь! – взорвалась я. – В нивелировке я смыслю не меньше вашего и в два счета докажу, что от пятиметровой разницы в месте стоянки инструмента абсолютно ничего не зависит.

Он встал, как вкопанный. Налился розовостью, которая затем приняла бордовые оттенки. Взъерошенная до крайности, я смотрела ему в глаза, не мигая.

- Вера Степановна, Вера Степановна! – Он сказал не то, что собирался сказать, на языке у него вертелись другие слова. Но именно этими словами он допек меня. Я пролепетала что-то об унижении недоверием и о самостоятельности, которой мы лишены. Я уже на все лады корилда себя за то, что вспыхнула.

- Здесь ни у кого, кроме меня, самостоятельности нет и не будет, - изрек он жестко. – И я вытравлю из вас бунтарскую закваску!

- Знай вы об этом заблаговременно, ноги моей здесь бы не было. Вы это хотели сказать?

- Это, это! Но, коль я вам мешаю, экспериментируйте сами.

- Ульмас Рахманович, разве недостаточно подробно объяснить задачу?

- Нет, - отрезал он, повернулся и пошел. Оглянувшись, плюнул себе под ноги. Вдруг метнулся назад. Это был пылающий факел, с которого ветер срывал золотистые рои искр.

- Ты что это... что это здесь себе позволяешь? – крикнул он. – Еще месяца нет, как из пеленок... А кусаешь руку, которая дает! Чтобы хоть что-то из тебя получилось, пять лет надо каждый твой шаг направлять. Ты кто сейчас? Ты никто. Тебе сейчас на мизинец дела нельзя поручить. Одна ошибка – и нет опыта. Овца паршивая!

- Мне надо «вы» говорить, - сказала я назидательно, подбоченилась и посмотрела на него очень выразительно. – Знаете, вы пошли сейчас прочь, и я бежать за вами хотела – извиниться и от стыда своего освободиться. Возвысив на меня голос и топнув ножкой, вы погасили во мне стыд. И не я, а вы должны извиниться! И впредь извольте держать себя в рамках!

- Кого пригрел! – крикнул он и побежал с модели, нелепо размахивая руками. Спас меня Борис Борисович. Он возник как из-под земли сразу после ухода шефа, несколько минут молча изучал поток, потом спросил: «Что, поцапались?» Как он узнал? Или на лице Раимова было все написано?

- Я взбрыкнула против мелочной опеки, - сказала я, не вдаваясь в подробности. – Бита за строптивость. Мне надлежит знать свое место и не гоношиться.

- Значит, ушибались и будете ушибаться? Синяки не в счет? В счет одни принципы?

- В счет и принципы, и синяки, - ответила я.

- Сочувствую.

- А вам это разве не мешает?

- Уже разглядели? Это не на поверхности.

- На самой-самой! Ваше якобы не на поверхности соперничество у всех на виду. Должна сказать, прямо обязана сказать, что оно всем осточертело.

- Тише, пожалуйста. Мой вам совет: будьте, как все, - сказал Борис Борисович.

- Не получится, - отвергла я его предложение. – Что, обломаете? А вот и нет! Не дамся и не позволю. И на поклон к вашему Раимову, конечно, не пойду. Тоже мне, бай выискался!

Кажется, он в первый раз посмотрел на меня с любопытством. Другие исполнители загадок не задавали. Если руководство хочет думать за всех, если ему нравится это – что ж, на здоровье! Только в этом случае среди тех, за кого думает руководство, обязательно появятся недовольные.

- А вы непоследовательны, - продолжала я. – На словах во всем соглашаетесь с Раимовым, а в его отсутствие проверяете одни свои идеи.

- Не так громко, Верочка! Да оглядитесь вы сначала, уразумейте, что к чему и кто есть кто. Потом засучивайте рукава. Не торопитесь стать белой вороной. И Раимов, и я субъекты, трудные для перевоспитания.

- Вы правы. Сгладьте, пожалуйста, перед Раимовым мои дерзости. И Бог ему судья, если он не сгладит свои!

- Разве я могу сгладить то, о чем даже не осведомлен? – улыбнулся он. – Лучше всего, если это останется между вами.

Мы проверили один из вариантов Бэ-Бэ. Он был не лучше и не хуже предыдущего. Потом он ушел, и я стала думать о нем. Кое-какие наблюдения уже сделала. Одевается он без притязаний на элегантность. Для него лучшая одежда та, которая не стесняет движений и на которую можно не обращать внимания. Любящая женская рука к его одежде не прикасается. Вид у него часто болезненный, и я спрашиваю себя: «Переутомление? Домашние хлопоты? Много курит?» Инесса сказала, что жена Бэ-Бэ мила и обаятельна, но их любовь давно

сменилась привычкой. Подробностей она, скорее всего, не знала. Поначалу он показался мне человеком замкнутым, почти угрюмым. Улыбался он редко, и редко бывал добродушен.

Да приходит ли к нему хорошее настроение, спросила я себя. Сосредоточенность на какой-то одной мысли, на какой-то одной идее – вот привычное его состояние. И эта стойкая увлеченность каким-то одним направлением порождает рассеянность, поверхностное восприятие всего остального. А вот чем он увлекается, мне еще предстоит узнать. По-моему, он личность. Как и Ульмас Рахманович. Раимов прямолинеен. Басов, наверное, многое таит в себе, ему так привычнее, спокойнее. Его неприкаянность в личной жизни роднит его со мной. Но, может быть, я все это выдумала, я большая выдумщица. Он не мелочен, и с ним легче. Я стараюсь обрадовать его быстрой исполнительностью, сметливостью.

Надо спешить. Скоро в театр, а я занята одним Бэ-Бэ. Варвара ко мне не снисходит. Инесса тоже не откликается на мое желание сблизиться с ней. Зато оттенков превосходства предостаточно. Ладно, ладно! Думаешь, Инна, я не прочитала твою самую заветную мысль? Она проста до жеманства. А, может быть, я наговариваю, и ничего этого нет? Посмотрим! Из своих лаборантов она выжимает все, и преуспела в этом; они даже не ропщут. Но на себя свою высокую требовательность не распространяет. Себя уважает. Если представляется случай, – например, шефа приглашают на конференцию, – может улизнуть сразу после обеда. И ни малейших угрызений совести. Варвара куда добросовестнее. Она была бы замечательна и как человек, если бы не одна препротивная черточка – ехидство. На меня это не действует. Такие слабости я пока еще прощаю. А Инесса уже призналась, что не любит Варвару. Если бы не ее признание, я бы ни за что не догадалась. Ведь мне поначалу показалось, что они подруги, которых водой не разольешь.

5

Смотрели «Дон Жуана». Музыка не запомнилась, значит, не всколыхнула. Балерины же были милы в своем желании произвести впечатление. Да и старая эта легенда пускает глубокие корни в каждое новое поколение. Кажется, все есть у женщины, и семейное счастье с нею, но не остановил на ней ни разу современный Дон Жуан своего пламенного и привораживающего взгляда, и что-то неизъяснимо дорогое прошло мимо, осталось не познанным, и возникло и беспокоит ощущение несбывшегося с его тихой горечью и потаенной грустью. Очень многим женщинам плохо, оказывается, без Дон Жуанов.

Идея коллективного посещения театра возникла в обеденный перерыв.

- Девочки, надо пойти! – Варвара странно похорошела от своего воодушевления, и каждой из нас досталась секунда ее сияющего взгляда.

- Люблю донжуанов! – призналась Инесса без малейшего стеснения. – А вы?

- Эх, загулял, загулял, загулял паренек! – пропел Макс, притоптывая ножкой.

- Не то, не то! – Инесса пренебрежительно наморщила губки. – Какой-нибудь загулявший паренек с гармошкой на пузе и близко не Дон Жуан.

- А кто же тогда ваш Дон Жуан?

- О! – произнесла Варвара и беззвучно почмокала губами.

- О-о-о! – мечтательно и нежно проворковала Инесса и закатила глаза, показывая, как не равен Дон Жуан каким-то там разным паренкам, приземленным до примитивности, как высока его единственная и неохватная, как сама Вселенная, страсть, как близка она тонкой женской душе, не ведающей порока, но готовой познать, что это такое.

Тут же была написана заявка, и Марго помчалась за билетами. Бэ-Бэ дал денег на два билета.

- Басов всегда берет два билета, но приходит без жены! – сказала Варвара.

- Куда же он девает второй?

- Спроси у него, пожалуйста. А я спрошу у тебя.

Мне выпало сидеть между Инной и Борисом Борисовичем; справа же от него сидела Варвара. Я долго стояла перед зеркалом, а потом честно сказала себе, что это не тот случай, когда одежда и косметика в состоянии повлиять на ситуацию. Как ни странно, это признание облегчило душу. Верно подмечено: на нет и спроса нет. Даже Борис Борисович приоделся. О девчатах я и не говорю: Инесса была сама прелесть.

- Борис Борисович, где же ваша супруга? Когда вы нам ее явите? – Если Варвара старается уколоть, она произносит слова нараспев и выжидает ответной реакции, откинув голову назад и слегка сощутив глаза. Инесса поморщилась: к чему эти детские «где» и «когда»?

- Дела домашние! – Борис Борисович обезоруживающе улыбнулся.

- Вы бы взяли и помогли! – не отступила Варвара.

- Я так и поступил, но на почве моей неловкости произошло маленькое недоразумение.

- Маленькое? – Варвара требовала уточнения.

Я заерзала; белое каление уже было недалеко.

- Ну, зачем вы, Борис Борисович! Знаете, как это называют молодые ребята? Вешать лапшу на уши. Вы у нас лапшегон известный и последовательный!

Так она развлекается. Кривляка. Злюка и жалкая кривляка!

- Придется приударить за тобой, и сегодня же. Это единственное, что в состоянии убавить накал твоей критики. Возражения не принимаются!

Занавес взмыл, и Варвара замолчала. Дон Жуан начал обольщать. Я смотрела, привстав на цыпочки. Смятение охватывало женские души, жаждавшие любви более горячей, и нежной, и пылкой, и страстной, и запретной, и высокой, чем та, что выпадала на их долю. Восхищаясь малочисленным и круто возвышающимся над нами племенем однолюбков, сами мы любим не один раз, но почему-то не гордимся этим, не выпячиваем это, как достоинство. Ибо мысленно мы с Дон Жуаном, мы прямо жаждем его появления рядом, мы в восторге от его элегантности, обольстительных манер. Тут возникает тысяча пикантных вариантов. И как изобретательны, как настойчивы мы в их реализации! Как разочаровывают нас даже временные неудачи, как воодушевляют эфемерные, не поддающиеся закреплению победы!

- Сопереживаете? – спросил Борис Борисович, когда занавес опустился и люстра начала медленно наливать светом. – Сильные ощущения для вас или не для вас?

- Для нас, для нас! – заверила Инесса.

- Борис Борисович, а в вас есть что-нибудь от Дон Жуана? Или все ваши чаяния сосредоточены только на работе? – Варвара вновь подбивала клин.

Инесса фыркнула и скользнула в фойе.

- А ты что заметила? – ответил Басов вопросом на вопрос. О, да он отнюдь не мальчик для битья. Занятно!

- В том-то и дело, что ничего не заметила. Или вы маскируетесь, как никто другой, или жалко пасуете. Я еще не видела, чтобы вы закусали удила. А вокруг такие возможности!

- Или, или! Разглядела, называется! А еще хвалишь свое исследовательское око!

- Так точно, разглядела. Вы опять пришли без жены.

- Значит, мне достаточно нашего сплоченного коллектива.

- Сплоченного? Не смешите меня.

- Я знал, что буду сидеть рядом с тобой. – Он не повернул в новое русло, куда любезно заманивала его Варвара.

- Это и есть начальная стадия донжуанства.

- Начальная, Варвара Федоровна, и последняя. – Он смешно уставился на нее синими выпуклыми глазами, и ей первой стало неловко. Посмаковав ее смущение, он взял нас под руки и повел в буфет. «Что пить будем, бабоньки? Ну, и врежем сейчас... пепси? Кофейку? Заказывайте, не жеманьтесь! Мой кошелек и шампанское выдержит».

Мы остановились на кофе и пирожных.

- Что за жизнь пошла! – сказал Басов. – Даже тоста нельзя произнести. Варюша, ты как считаешь, дремлет во мне Дон Жуан? Если дремлет, попробуй, разбуди его. Мне самому интересно его увидеть, но без твоей помощи это неосуществимо!

- Одна, Борис Борисович, попробовала...

- И ты попробуй, не прячься за ту, которую в пример ставишь. Только отвечу тебе наперед: Дон Жуана не надо будить, он всегда готов к осаде и натиску. Дон Жуан сам кого угодно разбудит и расшевелит. – Он опять улыбнулся, светло так, и я спросила себя, было ли между ними что-нибудь.

- Вы меня словно в ханжестве попрекаете, – сказала Варвара. Интонации занятого ребенка, которому все позволено, постепенно исчезли из ее голоса. Превращение в сторону обороняющуюся ее покорило. Поделом же! Я вдруг почувствовала себя лишней. Я, кажется, мешала этим двоим быть самими собой. Они все время как бы оглядывались на меня, как бы опасались моей реакции, отличной от той, которую они вызывали друг в друге.

- А кофе-то ничего! – сказал Борис Борисович, отказываясь далее разоблачать в Варваре Федоровне ханжеское и напускное.

- Так попрекаете вы меня или нет? – спросила Варвара.

- Да не о том речь. – Борис Борисович соорудил мину человека непонятого, который никак не может уразуметь, чего же от него хотят-добиваются. – Я для того здесь без жены, чтобы ты не скучала, вопросы свои востренькие без тени смущения могла вонзать в меня и обратно вытаскивать, другими заменять, которые еще позанозистее. Мне кажется, от женщины зависит, быть или не быть мужчине однолюбом, от ее поведения. Соедини она в себе всю женскую суть, которая имеется в природе, и согрей ею своего мужика, – он вознесется на такие высоты, с которых ему не будет видна ни одна другая женщина.

- Опять условие, и какое! – воскликнула Варвара.

- Не для тебя? Перевоплощаться надо, а мы или не умеем, или не желаем, настроение не то?

- Зачем же мне быть... кем-то еще? А потом снова еще кем-то? У меня что-то свое есть за душой, мне дорогое, и освобождаться от этого, от сугубо своего начала в себе, не вижу смысла. Смекнули?

- Вот и ответила ты себе на свою же мечту об однолюбье. Зыбко, неправдоподобно, неосуществимо, ненужно. Этого товару мы не употребляем за постоянным его отсутствием!

- Я бы этого о себе не сказала. Я двумя руками «за».

- Не получится, Варвара свет Федоровна. Однолюбье – это талант, возвращаемый двоими упорно и терпеливо. Поскольку всякий талант редкость, и не маленькая, правильнее будет предположить у себя его отсутствие, нежели наличие. Но даже если тебе кажется, что ты соответствуешь и за себя готова отвечать, то что полагает на сей счет твоя дражайшая половина? Да и есть ли она в наличии или ее еще предстоит разыскать в приливах и отливах нашего бытия?

- Борис Борисович, не ходите так далеко! – попросила я.

- Вера, не стесняй его! – набросилась на меня Варвара. – Мы сейчас вне ограничительных рамок, в этом и смысл. Дон Жуан в вас будить надо, робок он и застенчив, сам на белый свет не просится, в келье какой-нибудь потаенной смиряет себя затворничеством и воздержанием. Как вы его этому обучили – загадка. Так, вероятно, вы однолюб и супруга для вас – и «Флора» рембрандовская, и «Мона Лиза», и «Прекрасная незнакомка», и «Неизвестная», и «Кающаяся Магдалина»...

- Моя супруга – это моя забота, – просто сказал Басов, пресекая дальнейшие изыски на эту щекотливую тему. – Правда, Вера? То, что я испытываю к ней, всецело мое, и ее чувства ко мне – тоже мое достояние. Если сюда вкралось что-то твое, это давай аккуратно выделим и обсудим. И выставим на всеобщее обозрение – с нашего обоюдного согласия.

Варвара поперхнулась. Посверлила глазами-буравчиками Басова, потом меня, – почему при сем присутствую? – потом снова его. Борис Борисович рассмеялся, напряжение было снято. «Зайдем места, антракт кончается», – сказал он и повел нас в зал. Нам встретила Марго и подстрекательски хихикнула. Наверное, мы были очень важные. Борис Борисович, невысокий и круглотелый, умел напустить на себя значимость. Он держал мою руку безвольно, и было достаточно легкого движения, чтобы высвободиться. Я же была почти счастлива. Мне казалось, что на меня смотрят с изумлением. Мы сели; Инессы еще не было. Она явилась перед поднятием занавеса, побеспокоив половину ряда. Каждому, кто подтягивал под себя ноги, освобождая ей проход, она говорила: «Извините, пожалуйста!» Шепнула мне: «В фойе ни одного симпатяги!» От нее пахло ванильным шоколадом. Полакомилась в одиночку. Для этого и отъединилась.

Опять Дон Жуан соблазнился и соблазнял, но ни одна из встреченных им женщин не была в состоянии надолго затмить собою других. Побеждая, он лишь углублялся в непостижимое, обнимая, лишь раздвигал пределы необъятного. Вот мужчина из мужчин, подумала я, вот прямо-таки фантастический мужчина. И вот я. Я! О, жалкая, безумная потуга! Да кто я такая перед Дон Жуаном? Его воспламеняли только лучшие из лучших. Быстрый оценивающий взгляд, и между нами ложится пространство протяженностью в бесконечность. Это навсегда. Меня любили только один раз, много лет назад. И не любовь это была, а нечто скоротечное, как летний внезапный ливень, дело капризного случая. Я, однако, все запомнила и мучилась памятью об этом страшно. Не могла простить и не могла успокоиться.

Три раза Борис Борисович касался меня локтем. Ненароком касался, но по мне пробежал нервный ток. Я обмирала и ждала продолжения. Но он осторожно отодвигал свой локоть, как только сам чувствовал прикосновение. Второй антракт разительно не походил на первый. Мы сидели на своих местах, только Инна устремилась в фойе в поисках новых впечатлений. Борис Борисович шутил, смеялся, изредка выдавал двусмысленности, я тоже смеялась, а Варвара отделялась короткими репликами: «Ну, что вы, Борис Борисович! Я не подозревала в вас такой странной склонности!» Ей нравилось, когда ее реплики кололи, и Басов не возражал, не спорил, не оправдывался. Мне показалось, что он намеренно не спорит, дразня ее обидной бесплодностью ее уколов.

Третьим действием театральное празднество завершилось.

- Девушки, кого из вас проводить? – спросил Басов.

- Нет, спасибо! – сказали мы в один голос. Если бы он молча взял меня под руку и повел к трамваю! Но мне показалось, что его предположение проводить нас относилось только к Варваре.

- Какие вы сегодня дружно не сговорчивые! Напрасно.

- Из нас только Вера живет далеко, – подсказала Инесса. Белые нитки были на поверхности: она целилась в Варвару, и попала. Но все правила соблюдены, не придерешься. Борис Борисович внимательно на меня посмотрел, ожидая и моей просьбы. «Большое спасибо, но это, право, лишнее!» – вторично поблагодарила я. Инесса преобротно пихнула меня в бок: а ты помалкивай, тебя не спрашивают, суетиться потом будешь! Варвара улыбнулась, и мы мило простились. Я села в почти пустой вагон. Я была счастлива тем, что увозила с собой предчувствие, – какое, не важно.

Третий час лежу с закрытыми глазами. Копаюсь в себе (теперь, правда, говорят по-другому: «Кивиряюсь»). Вспоминаю прошлое. Не люблю я его, и вспоминать-то нечего, одно несбывшееся за плечами,

грусть и боль одна. Отодвинуться бы от всего этого подальше и руками заслониться, но где та встряска, которая поможет отодвинуться? И что я получу взамен? Уходят от одного, чтобы прийти к чему-нибудь другому, заветному и долгожданному. Я же иду и иду, а где оно, заветное и долгожданное?

Я возвращалась в свое прошлое, и приходило ощущение, что не себя я наблюдаю в этих до боли знакомых картинах, а другого, но очень близкого мне человека, настолько близкого, что все его мысли и поступки тождественны моим. Сжигая свои записи в новогоднюю ночь, я хотела навсегда забыть прошлое. словно можно помолодеть на те годы, которые напрочь вычеркиваешь из прожитого. Но прошлое никогда не считалось с моим желанием не помнить его. Оно никуда не уходило – посторониться, и то отказывалось. Чаще всего, оно напоминало о себе одним невыносимо длинным и постыдным эпизодом моей первой и единственной любви. Недаром я запретила себе считать это любовью. Но, ведь, другого-то не было ничего! Лучшее все еще в завтрашнем дне, до него дожить надо!

Два громких, торжественных удара стенных часов: спи же! Спи! Я начинаю считать, но это не интересно. Я незаметно сворачиваю на запретную тропу. И память начинает скрупулезно воспроизводить былое. Тогда я была десятиклассницей, носила косы – одна из всего класса, и, довольная своим положением почти взрослого человека, довольная открывающейся свободой и пряной теплотой ветра, дующего в лицо, не обращала внимания на свою некрасивость и не страдала от нее. И мысли у меня тогда были все больше возвышенные, какие любила внушать школа - о благе страны, о служении родине, о поступках сугубо патриотических, за которые меня будут благодарить. Я мечтала об очень высокой форме благодарности, – о том, чтобы обо мне хорошо думали и говорили десятки, сотни, тысячи людей. Конечно, я видела, что недостаточно женственна, что на вечерах танцую с подругами и наши возмужавшие мальчики, еще год назад нещадно избивавшие меня снежками, теперь провожают домой моих одноклассниц, но не меня. Но я не страдала от этого, я была лишена зависти. Было, было чем занять воображение. И, кроме того, на помощь всегда приходила спасительная мысль, что все образуется.

У нас была удивительно талантливая учительница русского языка и литературы Ирина Александровна Гукова. Теперь, с расстояния в одиннадцать лет, секрет ее успеха мне кажется простым: она любила свой предмет и нас, своих учеников. Она несла свою ношу с радостью, с мыслью еще утяжелить ее. Блестяще вела свои уроки. Не пересказывала учебник, требовала самостоятельных суждений о классиках и их не утративших злободневности произведениях. Чтобы развить нашу самостоятельность, научить иметь и отстаивать свою точку зрения, она устраивала диспуты. Каждый диспут становился событием. На одном из них мне выпало сделать доклад о творчестве Маяковского. Я сама вызвалась, я тогда была смела и решительна и лишь много позже поняла, что помочь товарищу или подруге появиться на первом плане, проявить себя, - это подчас приятнее, чем самой красоваться под прожектором славы. К этому выводу я пришла под влиянием Ирины Александровны, за что ей благодарна несказанно. Да, она учила нас родному языку и литературе. Повзрослев, мы поняли, что она учила нас человечности, умению достойно жить, то есть сострадать, сопереживать, помогать. Я быстро усвоила, что подставить свое плечо под тяжелую часть ноши есть хорошо, а увильнуть, переложить свою ношу на другого есть плохо.

Итак, я готовила доклад, выказывая чудеса усидчивости, а Герман Казбеков готовился быть моим оппонентом. Таков был порядок наших диспутов: докладчик рисовал общую картину, а оппонент определял ее достоинства и недостатки. Я забросила все уроки и занималась только Маяковским. Очень скоро я поняла, какой это большой и сложный поэт. Я поняла это через его неумное стремление ускорить ход времени. Я развила колоссальную энергию. Просиживала в публичке вплоть до ее закрытия. В Германе я не видела серьезного соперника. Он был крепким парнем, уважал силу и копил ее в себе. Физическое превосходство доставляло ему истинное удовольствие. В его представлении, этого было достаточно и для превосходства в иных сферах. Не нравилось мне, как он улыбался. Что-то льстивое и подбострастное вкрапывалось в его улыбку. Когда он улыбался, я все ждала, что вот-вот раздастся вкрадчивое, бархатное: «Чего изволите-с?» Учился он без блеска. Оценка была для него важнее знаний.

Но диспут включал элемент состязательности, изрядно накаляемый соперничеством полов. Устраивая диспуты, Ирина Александровна позволяла себе маленькую хитрость. Она делила класс пополам, но не по алфавиту пополам, а на мальчиков и девочек, и если с докладом выступала девочка, оппонировал ей мальчик, и наоборот. Выступления тоже чередовались, оценки же затем суммировались. Так что успех личный на диспуте теснейшим образом переплетался с успехом коллективным, и мужская половина класса оказала на Германа сильное влияние, буквально заставила его пахать глубоко. Против течения он не поплыл и поусердствовал-таки, чтобы исключить нарекания товарищей. Собственно, это было мое первое знакомство с мужской солидарностью – качеством, которое нам, женщинам, еще предстоит развить в себе.

Доклад я отчеканила, даже аплодисменты сорвала. Потом Герман хвалил меня, курил фимиам. А я и так была на высоте, на которую сама себя вознесла. После него еще выступили девчата и ребята, но они мельчили. Мне и Казбекову Ирина Александровна выставила высшие баллы, а в отношении других была более скупа. Мы с ребятами набрали баллов поровну. Диспут закончился вничью, все были довольны. Продолжая спорить, доказывая каждый свое (особенно усердствовали те, кому не дали слова), мы гурьбой ввалились в актовЫй зал, и

начались танцы. Герман подошел ко мне и еще раз похвалил доклад, а затем сказал, что мне, все-таки, следует согласиться с односторонностью Маяковского, поэзия которого более похожа на публицистику.

- Что же ты не сообщил об этом с трибуны? – поинтересовалась я. – Ирина Александровна уважает нестандартное мышление.

- Что ты, это не общепринятая точка зрения!

Его глаза светились-переливались оттенками превосходства. Маленькие, но выразительные, они чем-то дополняли своим выражением его улыбку, а чем-то противоречили ей.

- Маяковский не односторонен! – возразила я, не накаляя тона до вызова. – Как он любил предвидеть будущее! Он жил этим. Ни один другой поэт не может сравниться с ним в ярости утверждения нового строя и предвидении будущего.

- А кто возражает? – тотчас согласился Казбеков, и его улыбка стала еще любезнее, еще приторнее. – Но разве, готовясь к диспуту, ты не убедилась, что как лирик он не проявил себя? А возьми его манеру слагать стихи, его лесенку! Читателю на ней неудобно.

- У Маяковского особенная лирика, - сказала я, удивляясь собственному спокойствию. – У него советская лирика. Я бы даже вот как сказала: кому по сердцу наша действительность, тому по сердцу и Маяковский, ее певец.

- О! Вот это логика! «Кто не с нами, тот против нас!» Прекращаю спор и низко склоняю повинную голову. Но не для того склоняю, чтобы по ней ударили, а для того, чтобы ее погладили.

- Разве мы спорили? Мы обменивались мнениями. К взаимному удовлетворению.

Он вдруг преобразился. Улыбка его из приторной сделалась нормальной, почти одухотворенной. Сказал не без сожаления: «Ты, Вера, сильный оппонент. Я подумал, что легко заткну тебя за пояс, если захочу. Я захотел, да ты не поддалась. Ты влюблена в Маяковского?»

- Нет. Нисколько! – Я удивила его этим неожиданным ответом. - Просто я отдаю должное этому гениальному одиночке.

- Почему – одиночке?

- Он жил, как одиночка, и ушел из жизни, как одиночка. По-моему, гений самой своей значительностью, самой своей выпуклостью обречен на одиночество. Ведь всем до него так далеко.

- Странная мысль, но я готов ее разделить. Кто же твой любимый поэт?

- Михаил Юрьевич. «Выхожу один я на дорогу» – и перед тобой Мироздание во всей своей необъятности. Холодный, пронзительный, всепроникающий, громадный ум.

- Я тоже задумывался о нем, но так и не представляю Лермонтова конкретным человеком. Помнишь есенинские строчки: «Здесь Лермонтов, тоску леча, нам рассказал про Азамата, как он за лошадь Казбича давал сестру вместо злата. За грусть и желчь в своем лице, кипенья желтых рек достоин, он, как поэт и офицер, был пулей друга успокоен».

- Помню, - сказала я. Есенина я тоже любила, и гораздо больше, чем Маяковского.

Зазвучало танго, и Герман вдруг пригласил меня. Я просияла. Он хорошо танцевал, я тоже. Необычно было танцевать с парнем. Мы плавно скользили по натертому паркету. В глазах одноклассниц мелькнуло недоумение, сменившееся завистью. Наверное, воображение рисовало им мое будущее так: старая дева в окружении кошек, которых она поит молоком. Дни же ее однообразны, то есть беспросветны.

- Знаешь, мы могли бы дружить! – сказал он вдруг. Чего это он? Прежде он меня не выделял. Кровь прилила мне к лицу, и он почувствовал, как потеплели мои руки.

- Спасибо! – пролепетала я.

В тот вечер он танцевал не только со мной, но, приглашая другую девушку, спрашивал у меня разрешения, а потом возвращался ко мне. Я страдала (как быстро приходит в смущение душа!), но следующий танец он танцевал со мной. Потом он проводил меня домой; впрочем, он не сильно отклонился в сторону – он жил неподалеку. Я шла ночной зябкой улицей рядом с юношей, который предложил мне дружбу, и это было ни с чем не сравнимое ощущение. Улыбка его уже не была заискивающей. Он взял меня под руку. Мы говорили без умолку, и я чувствовала себя птенцом, который становится на крыло, испытывая при этом радость и прилив сил необыкновенный.

Герман рассказал про себя. Его воспитывала бабушка, а мать моталась по стране в поисках призрачного журавля, но даже обыкновенная синица редко давалась ей в руки. Бабка и привила ему лстивую улыбку повиновения. Она постоянно попрекала его и ограничивала (из-за скудости своих средств ограничивала), а он не протестовал. На любое проявление самостоятельности и непочтительности она отвечала многочасовой моралью на вечную тему о человеческой неблагодарности и черствости, о том, как ей, пенсионерке и человеку немощному, трудно кормить взрослого, но непутевого парня.

Он быстро выучился изображать внимание и послушание. Потом на старуху находила жалость, она раскаивалась в сказанном, вспоминала сына, павшего смертью храбрых в первые, самые провальные дни войны, и жалела себя и внука. И тут он выкладывал свои просьбы, а она их удовлетворяла, получая законный повод для завтрашних поучений: не ценишь, не любишь, мало помогаешь! Он ее действительно не любил, но поняла я это

много позже, когда разглядела его неспособность любить. В тот же вечер я была счастлива, и меня не смущало, что комплименты Германа подчас плоски и годятся на многие случаи жизни. Я не сомневалась в их искренности. Так и должно быть, когда юноша провожает девушку, думала я. Герман говорил, я слушала, душа моя пылала.

«Довольно! – оборвала я себя. – Все кончилось, все давно сгорело, не осталось даже пепла. А если бы пепел и остался, это не тот пепел, которым посыпают повинную голову. Зачем воспроизводить то, чего давно нет?» А сон не шел, и цепь воспоминаний потянулась дальше, вопреки моему нежеланию углубляться в это. Мы стали встречаться после школы. На улицах буйствовала весна. Лопнули почки, нежная, с желтинкой листва покрыла деревья. Зацвела сирень. Герман без смущения заходил ко мне домой, и мы шли в парк, в кино или просто бродили по тихим вечерним улочкам нашего замшелого одноэтажного района. Очень скоро я обратила внимание на то, что будущее рисуется нам совсем по-разному. Меня влекли знания, профессионализм, самостоятельность, а также польза, которую общество извлечет от моей трудовой деятельности, и материальное обеспечение бытия, то есть достаток. Он мечтал о доме на земле, о щедро плодоносящем приусадебном участке, о своей машине. Поначалу я считала это следствием того, что он вырос в нужде, но это была давно сложенная им, как домик из кубиков, жизненная программа. Он прямо-таки смаковал ее в предвкушении скорого изобилия. Согласно этой программе, в институт он не стремился, говорил, что инженерам сейчас платят до смешного мало. Его привлекала профессия наладчика торгового оборудования, например, холодильных установок. Он и профессионально-техническое училище присмотрел по этому профилю.

Я спорила с ним, – он охлаждал меня своим практицизмом. Учеба в вузе не для него, ему надоела постоянная и унижительная зависимость от старших. Пути развития страны его не волновали: наверху знали, куда идти. Вокруг было достаточно башковитых людей, чтобы искать и находить разумные решения по приближению всеобщего благоденствия. В его подсказках эти люди не нуждались. Впрочем, лозунг о том, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, он считал вздором обыкновенным, но признался в этом под великим секретом, взяв с меня слово молчать и не сердиться на него за это. Его вполне устраивала роль исполнителя. Он был уверен, что, работая в самых низах общества, но на хлебной должности, лучше себя обеспечит, чем если засядет за разработку рецептов, несущих благоденствие всему человечеству. За эти рецепты никогда не платили того, что они стоили.

Я почему-то сразу преувеличила свои силы и возможности. Воспрянула духом, возомнила, что мое влияние на Германа неограниченно. Я видела себя рядом с ним сегодня и всегда, и это даже отодвигало на второй план навязчивую мечту похоронить. То, что мы по-разному выстраивали свое будущее, какое-то время не мешало нашей дружбе. Вначале у нас не было тайн. Но моя ежевечерняя критика его планов сделала его сдержанным. Я подтрунивала над ним, он же горячо защищал свои планы. Мы оставались каждый при своем мнении, и мне казалось, что дружба наша от этого не страдает. Девчата посмеивались, глядя на меня, и предрекали близкое замужество. Но женитьба в планы Германа пока не входила. Там были только быстрое получение профессии, независимость и созидание благополучия.

В апреле Герман поцеловал меня. А в мае, еще до выпускных экзаменов, меня постигло жестокое разочарование. В воскресенье, после дня Победы, мы, компания одноклассников, человек двенадцать, пошли на Чирчик. Приехали в Сергили, а оттуда и до берега недалеко. Мы нашли уютное место, чистое, с песчаным пляжем, с ивами на обрывистом берегу. Разделись, Герман задержал на мне свой взгляд, и что-то его покорило. Холодок пробежал по его щекам, он стал оказывать внимание другим девчатам. Я сказала себе, что при его уважении к физическим данным другой реакции и быть не могло. Мои данные – интеллект и порядочность, а все это проявляется не на пляже. Впервые в его отношении ко мне вкралось принуждение. Все купались у берега, вода была холодна и желта от вкрапленного в нее ила и очень быстра. Шел паводок, поток нес много наносов. «Ну, хорошо же! – подумала я. – Посмотрим, кто из нас невзрачный, кто из нас слабак!» И бросила боевой клич:

- На ту сторону! За мной, кому это не хило!

- Сумасшедшая! – крикнули мне. Но я уже плыла на ту сторону. Вода обжигала – я спасалась быстрым темпом. Чего-чего, а плавать я умела. Тут я была на высоте и воспользовалась этим. Вблизи другого берега коленки заскользили по булыжнику, выстилавшему дно. Я встала на ноги, и поток разбился об меня, обтекая. Я едва держалась на ногах, таким мощным было течение. Вскинула вверх руки, словно стояла на пьедестале. Мне кричали, – я видела только раскрытые рты, слова терялись в грохоте реки. По моей стопе прокатился камень, потом второй. Быстрая вода вымывала из-под меня камни. Без минуты передышки я кинулась в быстрину, в холод и мрак потока, который вчера еще был снегом близ далеких горных вершин. Вода несла меня, волны вздымали, – я плыла, сопротивляясь изо всех сил могучей стремнине. Когда я ступила на свой берег, меня качало, я почти оглохла. Наши окружили меня.

- Ну, кто бы полез тебя спасать? – наконец, услышала я. Это Герман, не деликатничая, втолковывал мне, какая же я дура.

- Ты бы спас! – изрекла я и засмеялась. Я очень любила воду.

- Ты даже не спросила, плаваю ли я! Тебя и с берега было еле видно, а из воды я бы тебя не увидел.

Я бы мимо проплыл.

- Ты бы поплыл ко мне – это все, что мне надо. Я бы не позволила себе утонуть, и тебе тоже. Хочешь, проверим?

Я думала, что он смутится. Я хотела насладиться его смущением, но не тут-то было. Он отвернулся от меня и присоединился к играющим в мяч. Его самолюбие не было задето. Прикусив губу, я последовала его примеру. Начни я дуться, и эти приятные, воспитанные и любезные мальчики и девочки перестанут меня замечать. Мы гоняли мяч до звона в ушах. Нажарились, поддурмянились на горячем солнышке. И присели на травку под раскидистой ивой. Мигом расстелили скатерть-самобранку. На вино Герман не дал денег, но налитого ему стакана не отверг. Я не пила принципиально, я уже тогда ненавидела спиртное, и ненавидела из-за того, что наше алкогольное изобилие больно ударило по моим родителям, превратило их в полулюдей. Помешать же их падению я была бессильна. После вина яснее обозначились симпатии, мальчики стали давать волю рукам. Один из парней вдруг упал навзничь и заснул, второй последовал его примеру. Здоровяк Герман налег на еду. «Ну, что за слабаки пошли!» – разглагольствовал он и за обе щеки уминал колбасу, молодую картошку и соленые огурцы.

- Теперь, пожалуй, и я переплыву эту речку, - вдруг заявил он. – Рано ты меня записала в категорию слаборазвитых и сопливых. Герман Казбеков не такой. Пошли?

Я различила новые интонации, но, не проанализировав их, приняла вызов. Откажись я, и он позовет кого-нибудь из этих совсем тепленьких смазливых девочек, которые давно строят ему глазки (не все они были мои однокашницы). Вода приняла нас без всплеска. Я держалась позади, подстраховывая. Впрочем, он ни разу не оглянулся. Сила компенсировала ему недостаточное умение, и мы благополучно выбрались на левый берег.

- В грудях жжет, - сказал он, подражая кому-то из взрослых. – Страшно, а? Машешь и машешь руками, а все ни с места.

Он лег на горячий песок, радуясь, что река не сыграла с ним злой шутки. А я подумала, что не надо мне было второй раз входить в эту холодную, коричневую воду. Кустарник скрыл нас от остальных. «Будут зубоскалить!» – еще подумала я. Несколько минут мы молча впитывали в себя тепло погожего дня. Когда мы напитались теплом, он поднял на меня глаза, в которых я прочитала желание. Ни для него, ни для меня это давно не было запретной темой. Но это не было для нас запретной темой, когда мы оставались порознь, наедине с собой. Да, он обнимал и целовал меня, но большего, как мне казалось, он себе не позволит. Он положил мне на плечо ладонь, плотную, шершавую от налипшего на нее песка, и стал привлекать к себе. Я раздвоилась, я не знала, что делать. Вторая его ладонь нашла замок на молнии купальника и потянула его вниз. А во мне страх и любопытство спорили, кто из них сильнее. Желание тоже при этом присутствовало, но как-то нейтрально, спокойно присутствовало, громко о себе не заявляя. Я как бы наблюдала за собой со стороны, не вмешиваясь, не протестуя. Купальник уже был подо мной, я на нем лежала.

- Зачем ты так? – вдруг сказала я. – Тебе же будет стыдно!

Слова не защитили. Да так ли я хотела защиты? И руки, которыми я прикрыла грудь, не защитили. Я могла изогнуться, не позволить. Как ни слаба я была, на это сил хватило бы. Но, пока я соображала, как мне быть, все кончилось. Все кончилось удручающе быстро. Герман не смотрел мне в глаза, он был разочарован и сконфужен скоротечностью происшедшего. Я тоже была страшно разочарована. В нас росла антипатия и с паразитической быстротой рвались нити недавней приязни.

- Не сердись! – наконец, прошептал он.

- Ты что же это себе позволил? – спросила я. – Ты что, готов взять меня в жены? Готов стать мужем, отцом? Тогда объяви об этом прямо сегодня!

- Нет, - пролепетал он, отшатываясь, заслоняясь от меня рукой. – Я... я не подумавши!

- Рожу и приду к тебе, - пообещала я, еще отдаляя его от себя негодующим взглядом.

- Зачем тебе ребенок... в самом деле? Ты учиться пойдешь, и иди! Чего тебе надо?

- Шоколада! – Больше всего на свете мне хотелось разреветься. Но я не должна была показать ему, что слаба. Слаба, но не слабее его!

- Я не виноват! Ты завлекла меня на этот берег, ты...

Я падала в бездну. «Прекрати! Иди, ты свободен», - сказала я, чеканя каждое слово.

- Я женюсь на тебе через два года.

- И правильно сделаешь. Расписку дашь, или поверить на слово?

Боже мой, стыдно-то как! Совестно как! Где радость, где свет, где исполнившиеся надежды? Где всепожирающий, возносящий огонь любви? Боль и содрогание, и что-то чужое, не мое, не нужное мне на моих плечах. Грязная, чужая одежда на плечах, лохмотья серые, дырявые. Неужели вот это называют любовью, лелеют и воспевают? Неужели об этом мечтают?

- Надо возвращаться, - сказал он и встал. Руки мне не протянул. Он никогда еще ни о ком не заботился. Во мне закипало отвращение. Я ступила в быструю воду и поплыла, не оглядываясь. Вот и стремнина, и волны, возносящие высоко и опускающие глубоко. Пусть волна захлестнет его, швырнет вниз, пусть вода хлынет в его гнусный рот! Я оглянулась: ничего с ним не приключилось, он усердно делал взмах за взмахом. Теплой компании наше отсутствие не показалось особенно долгим. По мне скользнули безразличные глаза. Кто-то предложил допить вино. Я прикрыла свой стакан ладонью, Герман же позволил налить себе. «Люди так не

поступают», - твердила я и не хотела оправданий. Герман лег на траву и заснул. А я с дрожью в груди дожидалась, когда же мы, наконец, покинем этот ненавистный берег. Можно было уйти сразу, но это обратило бы на себя внимание.

Потом Герман приходил не раз – со словами показного раскаяния. Но он, как и его планы на будущее, был уже не для меня. Его слащавая улыбка казалась мне иезуитски издевательской. В том, как он извинялся, я видела не покаяние, а голый расчет. И этого человека я полюбила! Куда смотрели мои глаза, почему я была так близорука? «Извини, я не владел собой!» Хамелеон несчастный. Да ты прекрасно владел собой! Зачем еще одна маленькая, гаденькая, подленькая ложь в непрерывной цепи лжи и изворачиваний? Я запретила ему приходиться ко мне. Представляю – теперь, конечно, представляю, тогда же во мне не было ничего, кроме праведного негодования, - какое это принесло ему облегчение. Как он вздохнул раскрепощенно, как обрадовался!

На выпускном вечере я снова танцевала только с девочками – и рано ушла домой. Мне очень хотелось, чтобы школа и все школьное как можно быстрее отодвинулись в день вчерашний. И вот все давным-давно позади, и не Германа несамостоятельного виню я теперь в происшедшем, а себя, только себя. Почему бездействовала, словно загнипнотизированная? Почему разрешила? Может быть, совсем не так следовало воспринять это естественное событие, ведь не трагедия же это, а данность, уготованная природой каждой женщине и каждому мужчине.

Но зрелое размышление всегда приводило меня к одному и тому же выводу: не было у нас общего будущего, не складывалось оно, счастье нам не светило. Рядом с ним мне все время приходилось бы обманывать себя, подлаживаться под него, сглаживать столкновение интересов. От своего он бы не отступил, – значит, мне пришлось бы отступать от своего, уступать, идти на поводу. И ради чего? Во имя чего? Так я и обрекла себя на одиночество. Думала ли я тогда, что оно будет длиться десятилетие – и сколько еще?

Басов Борис Борисович. Высокий лоб, на который надвинута каштановая челочка, синие выпуклые глаза, ровное, а часто и искренне дружеское отношение к людям, неброское, отточенное временем умение отстаивать то, что ему дорого. И пристальный взгляд, на мне задерживающийся. Я – вся внимание.

7

Отменная зима. Не помню, чтобы так долго держались морозы. Транспорт промерз и буксует. Трамваям, казалось бы, должно быть все равно, ведь они по рельсам ходят, но и они то сбиваются в табунчики, то напрочь исчезают с горизонта. Обычная наша безалаберность в такие морозы вся на виду. В домах холодно, люди злятся. А я не злюсь, у меня не холодно, я сама топлю свою печь-контрамарку. Кладу больше уголька, этим нейтрализую морозы. И вместе с детворой радуюсь глубокому снегу, прозрачному воздуху, зубчатому тянь-шаньскому хребту на востоке, до которого в такой воздух можно дотронуться рукой - протяни длань и уколись об острые пики, раз их нельзя погладить. А до острых пиков сто километров. Выберусь и я как-нибудь на зимний горный пейзаж. Ну и что, что никогда не стояла на лыжах? Возьму санки, просто поброжу по синему утоптанному снегу, поморожу щечки, чтобы красные стали.

И тут я придерживаю себя. Во мне словно прорезается второй голос, скептический, старческий, ужасно нравоучительный. Я выслушиваю придиричивое назидание постоянного своего оппонента: «Опять ты неосторожно размечталась: парни, ветер удачи, заманчивое «и вдруг!» А горечь возвращения к прозе жизни, к обыденности бытия после всех этих парений?» Знаю: опять придется перечеркивать нарисованное с такой любовью, с нежностью доверчивой и детской, а, главное, с верой, что не фантазии все это. Почему я созерцаю там, где надо брать напором и действием? Почему гораздо чаще чувствую себя наивной школьницей, чем полноправной гражданкой, обязанности и ответственность которой включают в себя обязанность и ответственность отстаивать правду, порядок и достоинство человека в каждой бытовой мелочи?

Вот я недавно в театре сказала Борису Борисовичу, чтобы он не провожал меня. Пусть тогда на его внимание равно претендовали Варвара и Инесса, пусть у них было больше прав, но язык-то свой придержать я могла? Промолчала бы, и поперся бы он, как миленький, на мою улицу Буденного, где, может быть, нога его не ступала никогда. Глядишь, что-нибудь и случилось бы. Но к чему эти бесполезные уколы? Они только раздражают. Сегодня Борис Борисович весь день провел на моей модели. Мне еще трудно следить за ходом его умозаключений. Он предугадывает, как поведет себя поток, обтекая гасители той или иной формы, какое ему понадобится пространство, чтобы не было метаний, биений, пульсаций, подвергающих сооружение дополнительным нагрузкам, трудно предсказуемым.

В этих вопросах он ориентировался не хуже Раимова, как утверждала Инесса. Для меня же это была новь первозданная, лес темный. Не знаю, на что рассчитывала я, возражая недавно Ульмасу Рахмановичу, какой самостоятельности добивалась? Из моей самостоятельности лаборатории было бы решительно нечего извлечь. Действительно, нужны годы и годы, чтобы взрастить в себе то, что называют компетенцией. Но это время придет, во мне будут ценить специалиста, будут у меня консультироваться. А дальше? Если я научу моделированию электронно-вычислительную машину, это будет большое дело. Вот туннель: меняй шероховатость облицовки, и

ЭВМ выдаст тебе кривую напоров в зависимости от расхода. Вот водобойный колодец: вводи параметры потока и получишь картину гидравлического прыжка.

Но, как бы далеко я не простирала здесь свои планы, я хочу и другого, совсем другого. Я хочу, чтобы меня любили. Чтобы у меня была семья, дети. Чтобы меня встречали звонкие возгласы: «Мама пришла! Мама пришла!» Я бы уже могла дать жизнь двоим-троим человеческим существам, ведь я запрограммирована на это, и старший ребенок, мальчик или девочка, уже ходил бы в школу. Выйти бы замуж за хорошего человека! Я и на меньшее согласна, на самого обыкновенного человека согласна. Но за Германа Казбекова я бы и сейчас не пошла. Я ни разу его после школы не видела, но знаю, что у него двое детей и машина и что бабушку свою он похоронил и пролил на похоронах настоящую, человеческую слезу – горькую и скорбную. Да, пролил! Возможно, он был совсем не таким, каким остался в моей памяти.

Глаза мои наполнила влага. Я встала, походила. Не надо преувеличивать, драматизировать. И не надо личное, свое, что не дает покоя, переключать на чужие плечи. Я ведь начала с того, что был холодный, яркий день, и Борис Борисович подбирал со мной гасители. Вот и надо остановиться на этом, не уподобляться потоку, потерявшему русло и вновь его нащупывающему. Бэ-Бэ менял надолбы, варьируя их высоту и конфигурацию, а я помогала ему и раза три угадала его замыслы. Поглощенный делом, он не заметил этих маленьких моих удач. Он видел только текущую воду и свои гасители в работе. За день ни он, ни я не отдохнули и пяти минут. Открытие задвижки, установка расхода, проверка гасителей потоком, фотографирование процесса, закрытие тяжелой чугунной задвижки, смена гасителей (в водобойном колодце еще полно воды, все мокрое, руки зябнут), новый пуск модели. Туда-сюда, сюда-туда. Пальцы негибкие, красные, я пишу как курица лапой. А Басову хоть бы что. Смотрит, кривит губы, цедит: «Опять не то!» Или: «Получше, но еще не то!» Насколько же более тернист путь человека к совершенству нравственному, если простая производственная задача, технология решения которой достаточно отработана, требует для получения ответа затраты такого количества физических и душевных сил! Надолбы, разные по своей форме, мало чего меняли, и Басов сказал: «Давай посмотреть трамплины. Кажется, только они способны сделать погоду».

И мы поставили трамплин. Он подбрасывал поток, струи падали прямо на надолбы. Заметно уменьшились всплески, волны, брызги. В колодце стало куда спокойнее. Удача была несомненная. Басов посветлел, посвежел. Я же довольствовалась тем, что тихо радовалась чужому вдохновению. У меня возникло желание сказать ему что-то доброе, приятное.

- Вы угадали. Какой вы молодец! – сказала я.

Он удивился, я, наверное, прервала ход его мыслей. «Помолчи, пожалуйста!» – сказал он вполне доброжелательно. И я не обиделась. Он сопоставлял, сосредоточившись на каких-то своих идеях. Пришел Ульмас Рахманович. На меня – ноль внимания. Так-так-так! Сначала он наблюдал издали, затем вмешался. Борис Борисович слушал почтительно, всем своим видом выражая готовность тотчас же следовать указаниям шефа. Он уже выработал защитную реакцию. Но в один из моментов он раскрылся: в глазах его роились веселые бесенята. Он не только защищал свою самостоятельность, он играл, и великолепно. Ульмас Рахманович предложил еще одну идею.

Борис Борисович неожиданно заспорил, выдвинул контрдоводы. Раимов настоял на своем: «Проверьте и это, ну, час потеряете, какие тут могут быть вопросы?» Басов кивнул, а как только шеф ушел, продолжал все делать по-своему. «Неужели отмахнулся?» – подумала я. Отмахнулся, но очень изощренно отмахнулся. Прекрасно зная Раимова, он прибег к маленькой хитрости. Часа полтора испытывал свой гаситель, затем остановил воду и поставил вариант шефа. Едва я вновь отрегулировала расход, как подошел Ульмас Рахманович. Посмотрел, запустил в поток руку, нащупал главные струи. Пофыркал, похмыкал: его конструкция была менее удачна. Меня распирала гордость за Бориса Борисовича. Раимов обронил сквозь зубы: «Доводите свое, оно получше». И больше не вмешивался. Обычный производственный эпизод, ни на кого не брошена тень, интересы дела торжествуют, – откуда же приподнятость в моем настроении?

Если Басов был сосредоточен только на апробации своих задумок, то о себе я этого сказать не могла. Открывая и закрывая воду, выполняя это механически, я одновременно думала о вещах, далеких от лаборатории, но прямо связанных с Борисом Борисовичем. Почему у него неладит с женой? У каждого ли из них равная доля вины за эти трения, или чья-то доля много больше? Чья – больше? Если он так же основательно относится к жене и к семье, как к работе, то его доля не может быть больше. Люди часто становятся чужими против своей воли и, оглядываясь назад, не видят места и даты, когда их пути разминулись. Они уже видят себя на разных дорогах, а как они на них оказались, не могут вспомнить. Но, думала я, если в их отношения вкрался холод, если этот холод приобрел стойкость и плохо поддается лечению, не обратит ли Бэ-Бэ внимания на другую женщину? На меня? И что надлежит мне сделать, чтобы именно так он и поступил?

«Эгоистка! – уже укоряла я себя в следующий момент. – На чужом несчастье еще никогда не выросло ничего прочного, долговечного, привлекательного. Хотя... каждая находка в моем положении – это, прежде всего, чья-то потеря. Нет, Басов не для меня. Не люблю хищниц, рядом с ними приличному человеку не по себе».

Подошел механик, ведающий насосами, извинился и сказал, что рабочий день кончился, пора выключать воду. «Как? – встрепенулся Басов. – Уже? Летит, летит времечко!» Насосы встали, поток иссяк. Басов уединился

в своей каморке. Ему нравилось вечернее затворничество. Если бы было можно, я бы понаблюдала за ним. А девушки уже на старте. Инесса, как куколка: синее широкое пальто, вязаная белая шапочка, белый шарф и сумочка в тон. Любит она себя. А ее кто любит? Этой деликатной темы мы еще не касались.

- Инна, Вере нравится работать с Борисом Борисовичем, - сказала Варвара, привычно затягивая слова, как бы напевая их. – Борис Борисович обладает даром останавливать время.

- Ну тебя с твоими домыслами! – отмахнулась Инесса. – Побежали, времени у меня в обрез! Мне еще в институт надо успеть.

Гулкий топот, хлопанье дверей. Все-таки, ехидна эта Варвара. Была бы поумнее, не хвасталась своей пронизательностью, держала ее при себе. Впрочем, что она видела? Но интуиция у нее в порядке. Увидит мало, вообразит же Бог вещь сколько. Инна дружелюбнее. Варвара Федоровна, вы законченная злючка-колючка. И нос острый, вынюхивающий, специально для злючки-колючки созданный. Но она права: да, мне нравится работать с Басовым. Только нет в этом ничего предосудительного.

8

Середина февраля. Две последние недели прожиты заурядно. Сегодня я опять плакала. Неудача постигла меня на ровном месте. Я ошиблась при переходе от модельных размеров к натурным. Прimitивно так ошиблась, как первоклашка. Два рабочих дня пришлось перечеркнуть. Раимов почему-то сразу оказался в курсе. «Второй раз на этом месте упадешь, – уволю». Снесла молча, свою вину глупо оспаривать или преуменьшать. Борис Борисович тоже обдал меня резким, колючим холодом. Я съежилась и совсем притихла. Второй раз я не так его поняла. Он говорил о многом и неконкретно, и когда я установила гаситель и пустила воду, он разволновался и приказал остановить опыт. Оказывается, он просил поставить другой гаситель, этот не годился. Я разревелась, мне было стыдно, что я живу. Потом я все хорошенько припомнила: нет, он ни словом не обмолвился про гаситель, который собирался испытать в первую очередь. Наверное, мысль о нем пришла позже, но он почему-то подумал, что говорил мне о нем. Собственно, это мелочь по сравнению с первой ошибкой, за которую я не могу найти себе места от стыда. Правильно заявила Инесса: я круглая дура. Но – без слез, без слез! Слезы пусть будут внутри, а на миру – улыбка. Разве это не самое-самое, как сказал мой любимый Сергей Александрович? «В бури, в грозы, в житейскую стынь, при больших утратах и когда тебе грустно, казаться улыбочивым и простым – самое высокое в мире искусство!»

Вечером я пошла с Инной в баню. У меня нет удобств, а Инна обожает париться. Но, будь у меня ванна, я бы все равно ходила в баню, только не так часто. Мы не уславливались о совместной помывке, но в обед она проговорила, что сегодня у нее банный день, и я дождалась ее у порога бани и сделала все, чтобы она поверила в случайность встречи. Эти все ухищрения – от желания иметь подругу. Я рассказала о допущенных ошибках и в ответ услышала: «Нашла, о чем переживать! Да у меня за плечами таких ошибок штук десять! Исправила, и все дела. Если Раимов и Басов покопаются в своей памяти, они извлекут на белый свет немало подобных ошибок!»

- Снимем номер? – предложила я. В общее отделение была очередь.

- А парная?

- Парная – это вещь, - согласилась я. Постояли в очереди, поболтали. Из наших работников Инесса жаловала мало кого. При этом подразумевалось, что сама она выше критики. Прошли в предбанник, разделись, разобрали тазики, что получше – и в парную. Смуглая, худошавая, пропорциональная до картинной отточенности, с томно-задорными оттенками востока на юном лице, Инесса производила впечатление создания почти совершенного. Рядом с нею я терялась, я даже тенью ее быть не могла. Пар отдалил ее от меня, голос ее доносился как бы издали. «Какая ты красивая!» - крикнула я. Она кивнула, приняла мой восторг, как должное.

- На тебя приятно смотреть! – еще крикнула я.

- Не надо, - кокетливо запротестовала она. – Я и так задираю нос. Варваре это не нравится. Почему ты не мужчина? Я бы отдалась тебе прямо в парной!

Я не ответила. Мы не настолько были близки, чтобы говорить об этом. Я облила себя холодной водой и села повыше. Спросила: «Почему же ты не замужем?» Она пожала плечами, потом выдала что-то о недалекости одного неплохого мужика, по вине которого ее девичество затянулось.

- Странно. Может быть, ты хочешь слишком многого?

- Мне нужен мужчина с будущим. Мне нужен тот лейтенант, который способен стать генералом. И он у меня почти есть!

- Понятно. Слушай, а почему тебе безразлична работа?

- Ну, безразлична. Факт, безразлична. Нашла тему для беседы в парной! Что в нашей работе такого, чтобы балдеть от нее? Да за нее почти ничего не платят! У нас все держится на Раимове и Басове, они пусть и вкалывают!

Она тоже окатила себя водой, привстав на цыпочки и высоко подняв тазик над собой. Ну, и талия! А грациозна, а легкокрыла! Забывшись, я погладила ее. Она мгновенно повернулась, улыбнулась милостиво, снисходительно. Наверное, подумала: «Только по пятам не ходи, это быстро надоедает».

Потом я проводила ее. Она вспомнила школу, институт, студенческие приключения, включавшие в себя даже падение с лошади. Но не произнесла ни одного мужского имени и не похвасталась ни одним эпизодом, в котором вторая роль принадлежала бы мужчине.

- Я хочу, чтобы мы стали подругами. – Я хотела этого, как великой милости.

- А разве мы не подруги? – удивилась она. – Только учти: у меня масса подруг и мало времени.

У меня учащенно забилося сердце. Я уже видела себя и Инессу на вечерних быстро тускнеющих улицах, в поездках за город с веселыми компаниями. Почему меня тянет к ней, а не к Варваре? Обе равно озабочены устройством своей судьбы, прочее – вне их интересов. Инна непосредственна, мне рядом с ней привольно. А к Варваре боязно прикоснуться. Она заряжена электричеством, только никогда не знаешь, положительное оно или отрицательное. И не знаешь, какой силы будет разряд. А так – Варвара бывает куда как мудра и прозорлива. Можно подумать, что природа спрятала в ней мощный рентгеновский аппарат. Но вот для чего природа так поступила? Кто знает?

9

Переборолась и навестила родителей. Этот шаг всегда дается мне тяжело, и, чтобы облегчить его, чтобы не оттягивать далее, я устанавливала день – это была третья суббота каждого месяца, - и шла в дом, который никогда не считала родным, к отцу и матери, которых не любила. Признаваться в этом – какое мучение, да и стыд какой! С другой стороны, как не признаться? Это есть, и от этого не убежишь. С этим я живу столько лет, сколько себя помню.

Минут сорок я добиралась до первого квартала Чиланзара, купила торт и в семь часов нажала кнопку звонка. Дверь открыла мать. Дородное тело, бордовые вислые щеки, слезящиеся глаза, глубокие борозды морщин и острый запах спиртного. Какое-то время она не узнавала меня, пребывая в полной прострации. Она давно уже замедленно реагировала на внешние раздражители, и я боялась за нее, когда она переходила улицу. «Верочка! Доченька!» – крикнула она и раскрыла объятия. Спиртным запахло сильнее. Я потянула ее в комнату, из полумрака на свет.

- Степа! – позвала она. – Девочка наша пришла.

Отец засеменял ко мне. Он что-то жарил на газовой плите, и запах раскаленного хлопкового масла растекался по квартире. Я распахнула форточку и только потом подошла к отцу и поцеловала его. Спросила: «Папа, как ты себя чувствуешь?» Ответ легко было прочесть на землистом, мятом его лице, но он обижался, если я не справлялась о его здоровье. У него язва желудка, давняя и очень его мучившая. Пивные и рюмочные не позволяли ей зарубцеваться. Ножа хирурга он боялся больше, чем прободения язвы.

- Скриплю и чирикаю, сама видишь, - сказал он. – Другой бы сразу на курорт, на воды минеральные, ему бы и полегчало. Но у другого деньги, а что есть у меня, у бедного вахтера? Одна застарелая язва – язвы ее в поддыхало!

- Ты еще и пенсионер, - подсказала я. – И, пожалуйста, не жалуйся, не ропщи на судьбу. На себя ропщи! Ты прекрасно знаешь, в какую прорву утекают твои и мамины деньги. На эти деньги вы бы месяц в году могли проводить на курорте.

«Степа, сбегай!» – вспомнила я. И он бежит и возвращается с очередной бутылочкой. Несчастные! Пожалуй, только в этом у них единодушие. А в квартире обшарпанный стол, древний-древний, жалкая железная кровать, над нею самодельный коврик с оленями на лесной опушке; олени чем-то напоминают девиц легкого поведения. Какие-то обноски на вешалке. Увы, я никогда не была желанным ребенком. Со дня рождения встала им поперек горла своим назойливым криком, пеленками. В тот день, когда я осознала это, я стала взрослой, - а мне в тот день десять годиков было. Матери было жалко кормить и одевать меня на свои кровные, и сколько попреков я выслушала, сколько подзатыльников получила, путаясь у нее под ногами! А между тем мать суетилась, накрывая на стол и звякая посудой. Отец стоял у окна и смотрел на меня грустно и иронично, и мне показалось, что он, в отличие от матери, днем не прикладывался к бутылке. Что-то с ним происходило, что-то он осмысливал, может быть, и переосмысливал. Но сила инерции в нем тоже была велика необычайно.

- Вера, у тебя все хорошо? – спросил он тихо. Я кивнула. У меня никогда не было потребности пересказывать родителям свою жизнь подробно и досконально. Моих дел и забот они не знали.

- Как бабушка? – Задав этот вопрос, отец непроизвольно поморщился, словно вдохнул запах, исходящий от ее кровати. Они ловко спихнули мне бабушку. Зачем им беспомощная, обеспамятевшая старуха, если собственный ребенок казался им бедствием? «Спихнули» – слово я употребила не совсем правильное. Разве я протестовала, когда брала бабушку к себе?

- Старуха плоха, - сказала я, но подробностей не коснулась.

- Плоха, но переживет меня!

- И меня! – подхватила мать.

- Уже нет. Не кошунствуйте, пожалуйста. Бабушка действительно плоха. Она перед самым шлагбаумом.

Они отшатнулись от меня, но опровержений не последовало. Отец давно не навещал свою мать.

- Лекарства мне не помогают почему-то, - сказал отец, меняя тему разговора. – Наверное, потому, что я не подношу своему эскулапу.

- Лекарства не помогают тебе потому, что ты себе подносишь, - напомнила я.

- Я принципиально не подношу эскулапу! – настаивал на своем отец.

- Степа, не смей нас! – сказала мать желчно. – Я не помню, чтобы ты когда-нибудь поступал принципиально.

- Неправда! – загорячился отец. – Вот дам ему десятку и получу такое лекарство, которое все заживит внутри меня.

- Десятку! Ты скорее удавишься! – бросила мать привычно и зло.

Они не изменились. Они стали такими после того, как много лет сопровождали вагоны с вином на Дальний Восток. Полмесяца пути: пей – не хочу! Они хотели и прикладывались в любой момент. Они сломались и жили с тех пор поломанные, хотя железная дорога давно отказалась от их услуг. Им понятны простые инстинкты. Что-то более сложное проходит мимо них, не задевая. Зачатая не в любви, я росла ребенком худосочным и неухоженным и только в последнее время перестала стесняться людей. Не в любви! Некрасивая я тоже по этой причине. Это оставило в душе след не стираемый, неизгладимый. Поэтому я и выросла в обстановке одиночества, в обстановке внутренней замкнутости на самой себе. Одиночество вело меня по жизни и дальше, мы становились неразлучны, неразъединимы, словно сестры-близнята.

Отец, оказывается, готовил плов. Мать посмотрела на меня замутненными глазами и, нимало не смутившись, извлекла из-под кровати початую бутылку портвейна. «Мама! – крикнула я. – Может быть, не сегодня? Не сейчас? Не при мне хотя бы?»

- Сейчас и при тебе, моя славная. В твою честь. За здоровьице твое драгоценное! Это полагается, это традиция, что же тут плохого?

- Мама, ты знаешь, каково мне видеть это!

- Ты прямо как маленькая.

- Жениха бы тебе, - сказал отец. – Не присмотрела? Он бы живо обмакнул тебя в новые заботы. Только не говори, что трудно найти подходящего человека. Нет ничего проще.

Впереди еще два часа пытки. За что, за какие проступки я этим наказана? У отца было несколько навязчивых мыслей, и мысль о моем удачном, в материальном отношении, замужестве преследовала его неотступно. Теперь он будет бубнить-втолковывать, перебирая в памяти потенциальных женихов, до тех пор, пока не выдохнется. И тогда за меня примется мать, что еще несноснее, потому что бестолковее. Нудное, методическое, упрямое тыканье пальцем в одну точку. Но я терпела. Я здесь вытерпела много-много и не такого. В доме родителей я была обречена на многотерпение.

Мать налила вина себе и отцу. Ее пальцы мелко дрожали. Я никогда не приходила сюда с вином и навлекла на себя ее гневливые обвинения в дочерней черной неблагодарности. Я терпела. Сама я им никогда не поднесу. Но как, как пресечь мне это страшное их пристрастие?

- Поехали, доченька! – сказала мать, выпила и быстро порозовела. Теперь можно было поухаживать и за мной. Она положила мне плову и стала смотреть, как я ем. Сама она почти не ела, но на ее телосложении хроническое отсутствие аппетита никак не отражалось. Плов был в меру напеченный, жирный, с привкусом, который я долго не могла определить, пока не догадалась, что он – от прогорклого хлопкового масла. Плов не понравился мне из-за дурного этого привкуса.

- Ты плохо ешь, - говорила мать, - разве не вкусно? Не обижай отца, он так старался!

Для отца это была слишком тяжелая пища, но он любил плов и ел с удовольствием. Рекомендации врачей относительно диеты он, язвенник, игнорировал полностью, а потом их же обвинял в неумении лечить. Почему я ни одной своей вины не перекладываю на чужие плечи?

- Вера! Положить еще? – спросила мать очень громко. Она все хуже слышала. Я прикрыла тарелку рукою. Как она сдала! Нижняя губа отвисает, рот полуоткрыт, видны желтые корявые зубы и большой, далеко не розовый язык. Ни прически, ни опрятного платья. Пусть я некрасива, но, ведь, не безобразна же! А к ней еще недавно приходили мужчины – в отсутствие отца, разумеется. Я все понимала, я рано научилась понимать такие вещи. Подвыпив, мать и отец бросали друг в друга обвинения самые страшные, не стесняясь меня, и я долгое время думала, что все так живут. Ведь после тех обвинений, которые они бросали друг в друга, нельзя дальше жить вместе. Но другие жили совсем иначе. Другие и близко не подпускали к своему порогу все эти злые напасти. Как только я поняла это, как только почувствовала, что задыхаюсь в родительском доме, моей самой заветной мечтой стало уйти и жить самостоятельно. И я поселилась в общежитии, а потом сняла комнату у одной милой одинокой пенсионерки. Хозяйка моя вскоре умерла, и комната перешла в мое формальное владение. Если бы все шло своим чередом, если бы я стояла в квартирной малоподвижной очереди, своя комната появилась бы у меня совсем не скоро.

- Как мало ты ешь! – повторила мать. А когда я росла здесь, я была несчастной дармоедкой. Я белый свет им застилала. Отец вдруг согнулся и поплелся к кровати. Меня кольнуло недоброе предчувствие.

- Скрутило? – крикнула мать. – Не будешь обжираться. Теперь ему грелка понадобится, - обратилась она ко мне. – Так всегда: ни минуты покоя. Вставай и наполняй ему грелку! Скрутило, – терпи, раз не признаешь докторов. Умный какой! Только передо мной не надо корчиться, страдание изображать.

Я встала и подала отцу грелку. Мать вдруг стала нещадно костерить свою заведующую. Мол, она только на себя одеяло тянет, а разве так можно? Она еще выведет ее на чистую воду! Я сильно в этом сомневалась. Она и сама не верила, что осуществит свое намерение, для нее совершенно бесполезное. Но ей надо было выговориться, выплеснуть наболевшее. А выговаривалась она лишь тогда, когда обличала. Я знала эти песни наизусть. Все вокруг были виноваты в ее несчастье, но не она сама. Ее обманули еще девушкой, – пообещали жениться и не женились. Потом подвернулся этот, - следовал презрительный кивок в сторону отца, - и женился, хотя вначале не обещал. Лучше бы и он обманул, слинял в сторону, тогда, возможно, ей бы встретился приличный человек. Отец не реагировал на этот холодный словесный водопад, но глаза его набухали грустью неизбывной, и он весь сжимался в маленький незащищенный комочек. Сколько же ему осталось, опять подумала я. Болезнь не отступала. Она обволакивала, готовясь поглотить. Наступит смирение, болезнь осмелеет, и все пойдет быстрее.

10

Бабушка умерла. Заснула и не проснулась. Отмучилась, бедная! Когда я обнаружила, что она не дышит, что ее неподвижность, ее восковое лицо и есть смерть, я с гнетущим спокойствием подумала, что хорошо бы и мне, когда придет мой час, так же тихо заснуть и не проснуться. Не корячиться и не страдать, а спокойно переступить неизбежную черту, уходя в другой мир. Старуха бесформенным кулем сползла на край кровати, и от нее пахло камфорным спиртом, которым вечером я растирала ей спину и ноги, чтобы не было пролежней. Морщины ее разгладились. Она не мучилась, когда пересекла последнюю черту, и потому казалась странно помолодевшей. Я коснулась губами ее лба, и мне передался холод безжизненной плоти. Смерть была для нее избавлением. Для меня же ее смерть была, прежде всего, потерей невозвратной.

Медленно накатывалось оцепенение. Я знала, что надо пригласить врача, позвать соседей, оформить нужные бумаги, но стояла, бездействуя, смотрела на заочневшее тело и представляла себя на ее месте. Такая же безмятежная улыбка умиротворения застынет и на моем лице. Сколько же мне будет лет? Что я успею сделать? Останется ли продолжение? Закроет ли мне глаза близкий человек, или цепкая хватка одиночества никогда не разомкнется? И подойдет к гробу умный человек, который скажет: «Теперь ей хорошо». И подойдет к гробу другой человек, который скажет: «Как живая!» И подойдет к гробу третий человек, который не скажет ничего, но много чего воспроизведет перед своими глазами. Через неделю еще кто-то вспомнит меня мельком, и все, и все. Кану в вечность, для всех и навсегда. А, может быть, все это придет даже раньше? Я не буду больше видеть, не буду запоминать с пронзительной, потрясающей ясностью, как мужчины, скользнув по мне быстрым взглядом, проходят и не оборачиваются. Все – мимо, мимо, мимо! Да, да, - заснуть и не проснуться! Как это сделала бабушка. И – конец всем земным мытарствам и несчастьям. Ну, а что может быть там, за последней чертой? Может ли вообще там быть что-то? Душа – не выдумка ли это, не поблажка себе, единственной?

Пришел страх. Вдруг мне показалось, что у старухи слегка приподнялась грудь. Нет, та же неподвижность. Как же я теперь буду одинока! Когда я брала бабушку к себе, мною одинаково двигали и сострадание, и страх перед одиночеством. Ночами я, наверное, буду чувствовать присутствие бабушки, буду с рвущимся из груди сердцем вглядываться во мрак, где стоит пустая кровать. Не так уж плохо было мне с ней, беспамятной. В минуты просветления сознания она была душевна и участлива, и редкие эти проблески запомнились, как запоминается добро и душевное тепло. Человек, вступивший в сей мир, приобретает и теряет, и сколько бы он ни приобрел, сколько бы всего ни сосредоточил в своих цепких руках, он будет и терять, и окроплять потерянное слезами, а в конце концов потеряет все – к радости тех, для которых потерянное им станет приобретением. Он потеряет все, когда против даты его рождения появится вторая дата – последняя. Бабушка, милая ты моя! Каким светом однажды ты меня озарила, когда сказала: «Какая ты красивая, Вера!» Не знаю, что на тебя нашло в ту минуту. Но после этого горшки, которые я из-под тебя вытаскивала, уже не пахли дурно.

Потом подле усопшей забурлил людской поток, любопытный и страдающий. Вопросы, слова участия – все это как-то обтекало меня, ничто не задерживалось близ сердца. Я открыла настежь окно и поехала улаживать дела, связанные с похоронами. Я словно ступила на хорошо отлаженный конвейер провода усопших. Конвейер передавал меня от чиновника к чиновнику, и я без промедления получала нужные бумаги, заказывала гроб, венки, место на кладбище, катафалк. Деньги текли, как слова соболезнования, но только не ко мне, а от меня. Впрочем, при чем тут деньги, чего это я вдруг о них? Какое значение в этот день могут иметь деньги? Ульмас Рахманович предоставил машину, прислал ребят. А я тогда на него накричала! Выйдя от него, я обронила слезу. Бабушка приехала в Ташкент к моему отцу в начале войны; возвращаться на пепелище не стала. Она была мне ближе и роднее отца и матери, она мне их заменила. Я любила ее, искала у нее защиты от рукоприкладства пьяных родителей. Она, можно сказать, вырастила меня. Она была изначально добрая, и у нее были шершавые крепкие руки славного поработавшего человека. Малограмотная, несовременная, она продолжала жить где-то в начале века и очень хвалила тогдашние порядки, тогдашний достаток. Я же ей не верила: ну, какой мог быть до революции

достаток? И чем хороши могли быть тогдашние порядки, если человек эксплуатировал человека? Зачем, в таком случае, нужна была революция? И я говорила себе, что бабушка была тогда молодая, а лучше молодых лет у человека не бывает, и от того все люди испытывают великое почтение к своим молодым годам.

Давно ушедшие понятия и обычаи над ней одной сохраняли власть, и это объясняло ее многотерпение и ее неприязнительность. Годы ее молодости так и остались для нее несравненными, лучшими. Колоссальный рывок вперед, совершенный страной, ее совсем не задел и следа на ней не оставил. Поудивлявшись автомобилю, самолету, телевизору, она быстро забывала о них. Зато любила рассказывать, как работала в поле и на огороде, возила сено на телеге, в которую были запряжены две лошади, копала картошку, поднимала на чердак пятипудовые мешки с зерном, варила варенье, солила на зиму капусту и огурцы, и мне не надоела ее одни и те же слова, ее повторы – в них было живое человеческое тепло, в них была грустная память о молодых годах, которым не суждено повториться. Старуха любила меня. Теперь, у остывшего ее тела, до меня дошло, какое это великое богатство – простая, безыскусная, от сердца идущая человеческая приязнь.

Услышав о смерти бабушки, отец всхлипнул, и мать всхлипла, но слезы ее тотчас высохли, и она с обычной своей недоброжелательностью заговорила о сослуживцах, которые строго с ней обходились. Отец плакал недолго. Произнес: «Вечная память!» И склонил голову. Картинно он скорбел, меня передернуло. От них от обоих пахло вином. Неужели вино напрочь изгоняет из человека все человеческое? Напрочь лишает его стыда, совести, милосердия, порядочности? Вероятно, так. Родители были рады, что все хлопоты я взяла на себя и расходы – тоже. Из всего погребального цикла их интересовали поминки. Мать деловито подсчитала, сколько водки надо купить. Я не выдержала и ушла. И горько плакала по дороге, не стесняясь прохожих. Бабушка лежала на столе со сложенными на груди руками, обмытая старушками-соседками, одетая. И мне казалось, что что-то должно произойти.

Утром я поехала на кладбище. В ожидании могильщиков постояла у свежих холмиков, к которым сегодня прибавится еще один. Было тихо и благостно в обители мертвых. Снег прятался под деревьями, а на открытых местах его уже не было. Макушки двух самых высоких деревьев облепили вороны. Гирлянды черных больших птиц упруго раскачивались на тонких ветвях. Я думала о скоротечности бытия и о том, сколько ненужной боли мы приносим близким сознательно и целеустремленно, словно без этого, без постоянного указывания близким на их место в человеческой иерархии, нет самоутверждения. Легкий морозец стоял, сковывал землю, пощипывал уши. После обеда глина начнет цепляться за сапоги. Солнечный луч скользнул по мне, рассыпался в изморосных ветвях тысячью бликов. Два метра земли над гробом. Неизбежное наступает и вбирает в себя, как ни ловчи и что ни предпринимай. С деревьев срывались тяжелые капли, изморось становилась обыкновенной водой. Вдруг пахнуло первым теплом весны. Месяц февраль прощался со мной, месяц март напоминал о своем сошествии на землю. Но я не оттаивала вместе с деревьями. Чем отличается неизбежность в девяносто семь лет от неизбежности этой же самой, непредсказуемой, всегда таящейся рядом, которая может обрушиться на каждого в самое неподходящее время и в любом возрасте?

Похороны и поминки я запомнила плохо. Над поминальным столом не витала горечь утраты. Люди пили и говорили о своем. Неестественно громкое слово вдруг выскакивало, смех раздавался. Никто уже не страдал, не сострадал, не переживал. Или я опять элементарно не права и эти люди вели себя так потому, что знали бабушку, знали, что смерть для нее – избавление от земных страданий? Я искусила губы, пока дождалась их ухода и тишины. Борис Борисович и Инесса на похороны не пришли – почему? Зато очень помог Ульмас Рахманович. И слова нашел, и участие проявил не показное. И вот опять мне было стыдно, что сорвалась я тогда, не поняла и не приняла его опеки. А Инна позволила себе отговориться занятостью и больным горлом. Если у нее холодное сердце, так она еще несчастнее меня.

11

В перерыв Инесса взяла меня за локоть и отвела в сторону. Мы вышли на солнышко, и она, подставив лицо его набирающим силу лучам, долго и сумбурно объясняла, почему не пришла на похороны. Она не выносит ни вида усопших, ни самой процедуры погребения. Ее потом мутит и колотит, она потом не спит. «Не пришла, и ладно, - думала я, - что тебе моя бабка? Ты даже не видела ее ни разу! И зачем мне твои оправдания?» А какая звонкая в этот час была капель! Подруга, называется. Могла бы прийти вечером, когда все завершится, и переночевать у меня. Почему нам не бывает больно от собственной душевной неделикатности?

Борис Борисович остановил меня перед концом рабочего дня. Причину своего отсутствия на похоронах объяснять не стал, а ошарашил меня предложением поехать на кладбище. Я заморгала, стала благодарить, сбилась, засмушалась. Сердце вдруг зачастило. Дорогой мы молчали; я не знала, о чем говорить. Начни я пересказывать бабушкину жизнь, ему было бы неинтересно.

- Как вам у нас? – спросил он первое, что пришло на ум.

- Знаете, почти нормально. Одно не по мне: почему мы ведем себя так, словно давно стоим на высотах, к которым в действительности только приближаемся? Наши циники Гумар, Макс, Марго, и вдруг члены бригады коммунистического труда. Ну, к чему такая профанация?

- Люди у нас самые обыкновенные, - перебил он. – Вы забыли упомянуть Инессу, а она первая в шеренге нерадивых. Она даст фору всем этим сладкоголосым мальчикам и смазливym девочкам, мечтающим о красивой жизни. Пусть она черства, пусть апатична ко всему тому, что не несет ей новых радостей, но она – куколка и всегда будет ею.

- Разве вам не нравилась Инночка? – спросила я.

Он ухмыльнулся: «Эх, Вера! Как вы еще чисты и наивны! Но раскусите, пожалуйста, Инессу сами! Я же вас предостерегу от одного только: ни в чем серьезном на нее не полагайтесь. Чтобы потом больно не споткнуться и сильно об этом не пожалеть! Ей дорог, и ею любим только один человек – она сама!»

- Это я знаю. – Я и не рассчитывала на нее в достижении чего-то своего, личного.

- Зачем же тогда вы вертитесь подле нее?

- Не могу объяснить, но мне это надо.

На кладбище были женщины в черном. Согбенные, похожие на тени, подавленные неизбывной тоской, они естественно становились частью кладбищенского пейзажа. Я их понимала. По странной инерции памяти умершие долго еще оставались для них живыми, и на кладбище это ощущение было много сильнее, чем дома. «У вас кто-нибудь здесь лежит?» - спросила я.

- Отец.

Могила бабушки была заметна издали: свежий венок с лентой из черного крепа, восковые цветы, не полинявшие от измороси. «Надо посадить что-нибудь грустное, сирень или астры. В сентябрьских астрах столько прелести!», - сказала я себе.

- Пусть все это быстрее заживет! – пожелал Борис Борисович. – Ваша бабушка долгожитель, и если у вас ее наследственность...

- Не будем вторгаться в неведомое! – сказала я. И подумала: «Почему он здесь? Подчинился силе мгновенного порыва? Он не знал моей бабушки, а стоит у ее могилы. Проследивает ли он свой путь, который тоже кончится вот таким коричневым холмиком?» Я цепенела от бессвязных мыслей. Если бы Басов мог вообразить мое состояние, он бы обвинил меня в кощунстве. Я не скорбела, а взалхлеб думала о нем. Он, живой человек, уставший от работы и немного рассеянный, занимал меня.

- Идемте, уже поздно, - сказала я, чтобы положить конец этому неестественному состоянию.

- Так скоро? – удивился он. – Я схожу на могилу отца, а вы подождите. Вам не будет страшно?

Сгущались сумерки. Я стояла и думала о Басове. Он женат – ну и что? Мало ли на свете людей, которые перестали быть счастливы в семейной жизни?

- Кхе! Кхе! Кхе! – раздалось за спиной. Сердце опустилось вниз и прыжком возвратилось на место. Пожилая высокая женщина в черном сливалась с сумерками. В ее облике, в горящих, но потупленных глазах было что-то неистовое и вкрадчивое одновременно.

- Мать? – спросила она и вдруг стала ниже ростом, словно сложились пополам, – чтобы смотреть на меня снизу вверх. – Бог дает, Бог берет. А у меня здесь сыновья. Одного погубил мотоцикл, а второй... второй пал смертью храбрых при исполнении интернационального долга. – Она кивнула на юг, на сопредельную страну, где мы хотели, но не сумели навести наш, социалистический порядок. Не нужен был этой стране наш порядок, она жила в других измерениях. Этой стране было очень дорого ее средневековье, и она не хотела менять его ни на что другое. – Ты не ропщи, а верь. Будет лучше, и будет легче...

Я посмотрела ей в глаза. Ее горе было большим-большим. Вся ее жизнь была перечеркнута двумя родными ей могилами. А я в утешители сегодня не годилась. «Я верю», - сказала я, не поясняя, что верю не так, как она. Она закивала и, не поворачиваясь ко мне спиной, пятясь, стала отдаляться от меня, подхваченная отрешенностью от земных забот. Только отрешенность позволяла ей подняться над болью. Глаза ее странно сузились и опустели, в них не осталось человеческих чувств. Я подумала: «А разделил ли кто-нибудь с ней ее горе? Почему я, считающая себя доброй и чуткой, не расспросила ее, не проявила участия?» Ее уже не было, она слилась с сумерками. Ночь надвигалась, обволакивая лиловой кладбищенской жутью. Круг, в котором различались предметы, сужался, а дальше, за его зыбкими пределами, призраки начинали свои бестеневые хороводы. Сдвигались надгробия, разверзались могилы, души умерших скользили над землей. Меня охватила странная неуверенность в том, что могилы за моей спиной так же недвижимы, как могилы перед глазами. Скорее отсюда! «Борис Борисович!» – порывалась позвать я. Прислонилась спиной к дереву, чтобы не озираясь. Ощущение жути нарастало. Конечно же, за моей спиной вершилось что-то таинственное и недоброе. Я до рези в глазах напрягала зрение, но не видела ничего потустороннего.

- Вера! – окликнул меня Басов с аллеи. Я пошла на его голос. Отлегло, призраки утихомирились. Какой-то бродяга в телогрейке и ватных штанах укладывался спать прямо на скамейке. Я попыталась воссоздать его скольжение вниз. Едва ли это преступник. Скорее всего, работы, семьи и нормальной жизни его лишила водка. Один из многих...

- Ты совсем раскисла! – сказал Борис Борисович, вдруг без предисловий перейдя на «ты». – Я провожу тебя. Не прекословь!

Это было, как прыжок в неизвестность. Я и не собиралась прекословить. Невнятно пробормотала: «Вас не будут ждать дома, беспокоиться?»

- Это не твоя забота. Мне дозволено приходить, когда угодно, - с достоинством произнес он.

Мы шли к метро, потом ехали, потом пересели на трамвай, потом шли по длинной узкой улице, выходящей к Тезикову базару. Я говорила ему самые нежные слова, а он не слышал их, – я произносила их про себя. Неужели? Если бы меня спросили сейчас, как сбываются мечты, я бы крикнула: «Вот так! Вот так!» И представила, как утром он крадучись выходит из моей квартиры. Верка – соблазнительница! Никогда не была ею, но это не значит, что не мечтаю ею стать.

Он рассказал, повинувшись неожиданному импульсу, как необычно провел нынешний отпуск. Амударья, плотик из автомобильных камер, с шалашом на дощатом настиле, судаки на обед, толстолобики на ужин, и комары, которые каждую ночь заставляли его с братом искать пятый угол. Экзотика. Странствия, возвращение в первобытную жизнь. Я ликовала: доверяя мне это, он добивался моего расположения. Однажды утром его брат взял на спиннинг пудового сома. После этого шалаш на плотике пришлось ставить заново. Соменок угостил нехитрое строение двумя ударами хвоста, и камышовые стенки полетели в родную свою стихию.

- Не представляю! – сказала я. – Вы, оказывается, большой оригинал. Лаборатория не смеялась над вами? – Я по инерции говорила ему «вы».

- Ты думаешь, я трезвонил об этом путешествии? Ошибаешься. Мне вполне достаточно открыться одной родственной душе.

- Благодарю за доверие, - сказала я и смело взяла его под руку.

- Знаешь, что меня беспокоит? Электронная вычислительная машина, которая по прошествии энного времени заменит собой человека. Робот, которого научат воспроизводить самого себя. Через сто, через двести лет эта техника будет уметь все – и в один прекрасный день выйдет из-под контроля человека. Человек окажется лишним. Ведь робот все-все будет делать быстрее и лучше.

- Это невозможно!

- Это невозможно сегодня, и на этом основании нас убеждают, что это невозможно никогда. Нас просто успокаивают.

- Вы не очень похожи на человека, снедаемого постоянным внутренним беспокойством. Все, мы пришли, - сказала я, когда мы остановились у древних красных деревянных ворот. – Заглянете? У меня чай цейлонский и конфеты.

Меня в жар бросило от такой моей наглости несусветной.

- В другой раз я с удовольствием попью твоего цейлонского чаю, хорошо?

Что-то его смутило, - что? Нежелание слишком припоздниться? И что еще он мне скажет? Я ждала.

- Нескромный вопрос: почему ты не замужем?

- Разве по мне не видно? – Я различила в темноте его улыбку: сверкнули зубы, прищур почти спрятал белки глаз.

- Не верю! – сказал он с искренностью юношеской, чистой.

Я вздрогнула от скрытой теплоты его слов. Он не льстил, не кружил мне голову. Он говорил то, что думал. Я знала, я ждала: должен быть на Земле человек, который заметит меня, выделит и позовет. Почему бы этому человеку не быть Борисом Борисовичем Басовым? Это была утопия, но не на все сто процентов утопия.

- Спокойной ночи! – сказал он, обнял меня, но обнял чисто по-товарищески, не привлекая к себе и не затягивая объятий, и ушел. Какими добрыми глазами он смотрел на меня! Но не надо, не надо так возноситься. Чем ярче огонь, который меня влечет, тем сильнее я опалю крылья. Только и всего. «Умолкни! – велела я скептику, который жил во мне и постоянно меня поучал. – Меня любят, это все настоящее!»

Я закружилась по комнате, запела. Меня любят. Любят! Любят!

Еще недавно я желчно усмеялась, когда в моем присутствии говорили, что кто-то плакал в кино или над книгой. Как я заблуждалась! Можно, можно разбередить себя и долго переживать, перекинув мостик на что-то очень личное, – когда волна грусти сливается с такой же встречной волной, поднятой неожиданно метким, глубоким словом писателя. Наверное, это явление резонанса, перенесенное из физики в психологию. Чтобы навернулись слезы, чтобы вспышка была острой-острой и, вместе с тем, протекала светло и безболезненно, словно была не моей, а чьей-то, кого вдруг мне делалось нестерпимо жалко, - такого со мной еще не было. Сегодня же я расплакалась, и причиной тому были стихи Роберта Рождественского. Не ждала, не чаяла, а вот нахлынуло и понесло, и закачало, и окунуло в скорбь.

Роберт... Прекрасно помню: ведет кинопанораму документальных фильмов. Полное чувственное лицо, пухлые губы, умные глаза. И слава, а через славу приближение ко двору, поглаживание по головке сродни родительскому – и про это знаю. Представляю восторг эксцентричных двадцатипятилетних девочек, балдеющих вблизи него. До сих пор я не была его поклонницей. Что-то нарочитое, что-то преднамеренно заданное виделось

мне в его стихах и в песнях на его слова. Я отдавала должное броскости его слова, и только. Его талантом не восторгалась, не принимала его близко к сердцу. И вдруг меня потрясло его давным-давно написанное стихотворение, прочитанное по радио. Оно, конечно, было написано не под светом прожекторов. В нем была бездна человеколюбия, сжатая в тугую пружину. Вот его сюжетная канва. Восьмилетний мальчик пришел на послевоенную толкучку, – стихийный рынок с разными диковинными вещами. Люди покупали и продавали, а он смотрел, разинув рот, на то, что переходило из рук в руки. Мягкий рубль лежал у него в кармане – он позабыл про него. Инвалиды продавали гимнастерки и сапоги, худые женщины с черными глазными впадинами предлагали добротную одежду мужей, которым она уже не понадобится. Бабки нахваливали пирожки и соленые огурцы. Эта натура потрясающе соответствовала нашему Тезикову базару.

А один расторопный безногий парень показывал фокусы. Постелил на землю черный платок, заученным движением опускал на него шапку, и, лукаво улыбаясь и подмигивая столпившейся детворе, доставал из-под шапки румяное яблоко, смешную белую мышь, которая, оказывается, совсем не противная. Последним он извлекал воробья с подрезанными крыльями – чтобы не подумал улететь. И, когда все убеждались, что под шапкой ничего не осталось, снова запускал под нее коричневую ладонь и вынимал, явно бахвалясь, баночку с крошечными рыбками. Это всех убеждало, что у него бездонная шапка, что из нее можно извлекать и извлекать. Но он больше ничего из нее не вынимал, а переворачивал и протягивал публике. Фокуснику хлопали, в шапку падали монеты и жеваные рубли. И кто-то в это время делал маленький шаг назад, прячась за тех, кто уже заплатил деньги. Мальчик смотрел на фокусника широко раскрытыми глазами. Вдруг он набрался смелости и громко попросил: «Дяденька, ты все умеешь! Продай мне такой фокус, чтобы в конце его мой папа с войны пришел! Я тебе все-все отдам!»

И тут всякое движение в толпе прервалось, само дыхание толпы прекратилось, тишина воцарилась первозданная. Никто не мог пошевелиться. Стихотворение кончилось, а я заплакала. Я себя представила стоящей в этой послевоенной кирзушно-сермяжной толпе за спиной белоголового мальчика, вперившего в дядю-фокусника свой умоляющий взор, представила смятение фокусника и скорбное молчание всезнающей толпы. Я плакала и была благодарна человеку, вызвавшему эти горячие слезы. Не сосчитать, сколько народа не возвратилось с этой костоломной войны.

13

Работала до восьми, а настроение такое, что с радостью поработала бы и до двенадцати. Теперь Борис Борисович знает, к кому обращаться со срочным заданием. «Останемся, Вера?» – говорит он. И я рада-радешенька, что нужна ему. Мы пускаем воду или чертим графики. Он сияет, когда очередная точка становится ювелирным продолжением других точек на одной кривой. Если же точка отскакивает, у него недоуменно взлетает бровь, и тогда первым делом мы проверяем расчеты. Несколько раз мне помогала интуиция, и я быстро находила ошибку. Я уже не новенькая, которой ничего нельзя поручить. А по терем-теремку шепоток шелестит: «Бэ-Бэ Верку охмыряет, вот умора! Хотите посмотреть?» Это наподобие легкого сквознячка: когда он есть, боишься простудиться, а когда его нет, чего-то не хватает, душно и грустно и некуда себя деть. Шепоток меня не коробит. Зато сколько мы успеваем, когда остаемся одни!

Басов провожает меня только до трамвая, но и этого внимания достаточно. В его отношениях ко мне стала проскальзывать властная нотка, словно он успел приобрести какие-то права на меня. Не покровительственная и даже не дружественная, а именно властная. Так, ожидая от других возражений и несогласия, он наперед знает о полном и совершенном моем согласии. Я часто ловлю его пытливый взгляд, в котором, несомненно, присутствует мысль обо мне. Это совсем не мало, и я счастлива. Откровенно говоря, я боюсь быстрого продвижения вперед, хотя готова и жду продолжения.

Бориса Борисовича нельзя назвать человеком, лишенным самолюбия. Я уже заметила, что наступать себе на ноги он не позволяет. Чувствителен к несправедливости. Он из тех, кто всегда выстаивает в очереди до конца. Я слышала от него только о летнем путешествии по Амударье. И – ни единого упоминания о жене, о дочери. Варвара уже намекала, что у него тяжелый характер. Намекала, что, если он мне нравится, я должна терпеть его метания, непостоянство и прочие странности (о сущности прочих его странностей она умалчивала). Я так и не поняла, доброжелательны ли ее предостережения. Наверное, да. Как ни любит она уколоть, дать почувствовать, что видит все мои тайны и смеется над их обыденностью, тут она не смеялась. Она прекрасно знает, что я остаюсь на работе сверхурочно не из-за неумения отказать, а из-за нежелания сделать это. Ее не задело, что теперь Басов обращает на нее меньше внимания. У нее на уме кто-то из наших простеньких пареньков, походя насвистывающих: «Как у нас, как у нас поломался унитаз!» Сумели ведь отсидеть положенное время в школе, техникуме или институте и взять минимум из того, что им предлагалось. Мне, конечно, этого не понять – куда мне? Когда я не остаюсь сверхурочно, я скучаю, почти мучаюсь. Дома, если я не сижу за дневником, тоска такая, словно вот-вот рухнут сразу все четыре стены. Работать с Бэ-Бэ вечерами или думать о нем в своей комнате – совсем не одно и то же. Когда я думаю о нем, я словно упираюсь в стену: впереди столько несбыточного! Между

нами ничего нет и быть не может – вот как называется холодная непреодолимая стена, в которую я упираюсь разгоряченным лбом. Тогда я начинаю мечтать, воображать.

Борис Борисович, которого рисует мое воображение, вовсе не точная копия живого Басова, а вполне самостоятельный человек, имеющий с живым Басовым чисто внешнее сходство, которое не распространяется на характер и поступки. Мой Борис Борисович без ума от меня и во всем следует моим желаниям. И, думая о нем, я каждый раз прохожу один и тот же путь – знакомую в мельчайших подробностях любимую дорогу. Я выучила ее наизусть, но ни одна деталь ее пейзажа не стала от этого назойливо-докучной. Живой Басов не похож на Бориса Борисовича моего воображения. Он совершенно глух к моим мыслям, прочитать или услышать их не способен. А неизвестность того, что он сделает в следующую минуту, держит меня в постоянном напряжении. Глухой к моим фантазиям, он маниакально влюблен в работу. В воду, обтекающую модели. В выведенные им закономерности и построенные графики. В поправки, которые он вносит в первоначальные конструкции и которые, в конечном итоге, экономят государству суммы, во много раз превышающие все то, что он заработает до конца дней своих. Почему, однако, столь высокая отдача одного конкретного работника не ведет к увеличению его заработка? Ведь это очень стимулировало бы старание всех и каждого.

Тут что-то не так. Ну, положим, Басова не надо поощрять. Пачка банкнот за финишной ленточкой не ускорит его бега. Так для других это ой как важно. Та же Инесса делала бы куда больше, если бы ее заработок прямо зависел от конечного результата. И я, может быть, делала бы больше. Неужели это нельзя отрегулировать? Неужели нельзя научиться оплачивать саму работу, а не пребывание на работе? Это вовсе не безобидная проблема. Это очень развязало бы инициативу. Только наша лаборатория при стимулирующей оплате труда могла бы обойтись десятью работниками вместо нынешних пятнадцати. Я представила себе масштабы страны и то, что могло бы принести всем нам грамотное стимулирование труда. От каждого по способностям, но каждому за его труд! Но разве я должна была представлять себе все это и делать надлежащие выводы? У меня в подчинении нет ни одного человека. Почему этим не занимается любимое мною правительство?

Я вновь опускаюсь на землю, снисхожу к тому, что рядом со мной. Я думаю, что если бы работающие с Басовым люди все до одного были безотказны и сведущи, он был бы счастлив. Почему же я почти заболела, когда он не просит меня остаться после шести? Почему в такие вечера мне дома зябко и неудобно? Зато какое наслаждение сидеть в его кабинете, считать или чертить и украдкой наблюдать за ним, делающим самое важное дело на земле – свое дело!

Я должна входить в его жизнь медленно-медленно. Чтобы он, оставшись один, вдруг остро почувствовал отсутствие человека, с которым только что ему было хорошо.

- Что у тебя с родителями? – спросил он однажды. – Не жалуешь?

- Не жалею. А вы как догадались?

- Молчишь ты о них, как будто нет их на белом свете. А они с тобой в одном городе!

И я поведала ему о наших взаимоотношениях. Он удивился и захотел пожалеть меня. Но он не знал, как это делается, и лишь тяжело вздохнул и охал. Зато он крепко сжал мою ладонь, когда подошел трамвай.

Пригрело солнце, и я решила вернуться с работы пешком. Это достаточно далеко. Сказать правду, мне очень надоело чувствовать локоть товарища в салоне трамвая или автобуса. Март кончался, на смену ему спешил апрель во всей своей голубой прелести. Кроны деревьев еще оставались голыми, но почки стремительно набухали. И травка зеленела, и солнышко блестело, и ласточка, наверное, была где-то на полпути к летним своим гнездам. До Тезикова базара я могла дойти по железной дороге, по шпалам – забытое детское ощущение. Расстояние между шпалами почти равнялось длине моего шага. Я шла быстро, и скоро мне стало жарко. Я сняла плащ и расстегнула кофточку. Над рельсами висел сверкающий медный провод, а шпалы теперь были железобетонные, фигурные, и наступать на них было не так удобно, как на деревянные. Прогрохотал пассажирский поезд, обдав зеленым цветом, запахом машинного масла и тугим порывом воздуха. Застонали и умолкли рельсы. Последний вагон, раскачиваясь, быстро уменьшился до размеров спичечного коробка. Тишина возвратилась, и я заметила, как парят рыжие бугры и дорожки, протоптанные по глине. Погожий день жадно вытягивал влагу из почвы. По низинам уже щетинилась травка, и купола персиковых и абрикосовых деревьев были пышные, бело-розовые.

Я шла и радовалась ощущению простора. На городской улице взгляд всегда упирается во что-то близкое и громоздкое, взгляду тесно. А с насыпи железнодорожной, огибавшей городскую окраину, было далеко видно. Ряд прозрачных еще тополей и жилые дома – это проспект Шота Руставели. Ближе – приземистые склады, заводские корпуса, и все это серое, однотонное. Совсем близко еще один не обжитый пока цех – блеск стекла, надежная плотность бетона. А за ним зеленое поле, как бы выхваченное и перенесенное сюда из лета. Оно потянуло меня, как магнитом, и я сбежала с насыпи. Горизонт сразу сузился, поле утратило свою привлекательность, разбившись на тысячи отдельных ростков. Земля была влажная, не для моих легких туфель. Я села на камень. Почувствовала томление пробуждающейся земли, движение соков, мягкую хватку корней, упругую силу нежных стеблей, жадно

пьющих весеннее терпкое тепло. Почувствовала себя одним из этих стебельков. Представила неизбежность того, что будет завтра: отцвету и пожухну, и свежая плоть отринет меня и займет мое место под солнцем. Естественно и просто займет, без лишних эмоций. Ибо это заповедано свыше.

Еще один поезд наполнил окрестность лязгом и грохотом. Куда-то мчались платформы с контейнерами и автомобилями, пульманы с зерном, цистерны. Потом вонзился в небесную синь большой серебристокрылый самолет и оставил за собой сизый шлейф сгоревшего керосина. Рев вырос в доли секунды до плотного, тяжелого звука, больно сдавившего уши, и оборвался, пронесясь надо мной подобно шквалу: аэропорт был неподалеку, город давно уже через него перехлестнулся. Я, наверное, была в створе взлетно-посадочной полосы. Снова – тишина, но такая, какая напрягает нервы: вот-вот ее расколет новый скрежещущий звук, новый вскрик большого города. Камень стал напивать меня холодом. Я вновь вскарабкалась на насыпь, и шпалы устремились мне навстречу. Слева потянулся мрачный угольный склад. Я до сих пор его клиентка, я не перевела свою контрамарку на газ и не мерзну в самые холодные зимние дни, когда давление газа падает.

Гулкий мост через Салар. Это что же такое? Что осталось от стремительного, гордого, прохладного Салара? Сточная дурно пахнущая канава, наполовину заполненная водорослями и тиной. В детстве я бегала купаться на Салар, и воды в нем было до краев, даже взрослые не брезговали этим быстрым, но уже и в то время недостаточно чистым потоком.

За Саларом отходила ветка на Ангрен, к угольному разрезу, и рельсы начинали ветвиться в большую крону. Это станция Кызыл Тукумачи («Красные ткачи»). Она обслуживает текстильный комбинат и группу близлежащих заводов. Три состава ждали отправления. Вагонам было тесно. Я обратила внимание на то, какие они прочные. Еще бы! Они должны пробежать миллионы километров. Погода или непогода, их удел один – бег. Две безликие женщины в телогрейках брали с открытой платформы уголь. Каждая прихватила с собой два ведра, и крали они буднично, не таясь, словно свое брали. Я подумала, что никогда еще не краля и не знаю, что должен испытывать человек, присваивающий чужое. Судя по тому, что таких людей много, это не есть нечто из ряда выходящее. Вдруг лязгнули буфера, и платформы с женщинами медленно поплыли. Женщины удивились, побросали на землю ведра, а потом неуклюже прыгнули сами, и одна упала, подвернула ногу и долго не поднималась. Вторая тормозила ее и тянула за руку, пока та не встала. Они подняли свои полупустые ведра и пошли, нелепо раскачиваясь.

За станцией был какой-то шанхайчик, наследие военных лет. Хибарки одна неказистее другой теснились в беспорядке, и между ними не было дворов, только извилистые проходы. Когда такой шанхайчик пускали под нож бульдозера и на его месте ставили пятиэтажки, сселяемые занимали в них почти все квартиры: шанхайчики отличались необыкновенно высокой плотностью населения. Я стала припоминать, где еще остались скопища таких лачуг. Куйбышевское шоссе. Улица Боткина близ городского кладбища. И все? Я напрягла память, но только для того, чтобы сделать вывод: шанхайчиков, оказывается, в Ташкенте не так уж много. Было много, а сейчас пять-шесть, и больше нет – сломали, извели, вывезли на свалку. Все правильно. Я родилась в одноэтажном глинобитном городе, население которого приближалось к миллиону, а умру среди панельных многоэтажек, ни одна из которых не напоминает город моего детства. Сегодня ташкентцев два миллиона, завтра будет три. В начале третьего тысячелетия – больше трех. А население всегда будет раскрывать рот. Жилье! Работа! Пища! Транспорт! Комфорт! Зрелища! Дай и обеспечь! Скорей-скорей-скорей-скорей! Нет потребителя жизненных благ более настойчивого и ненасытного, нежели человек, живущий в большом городе.

Час промелькнул, а я стучу и стучу себе каблучками. Самочувствие прекрасное. Вот и Тезиков базар. По воскресеньям здесь толкучка, или большое бальдерьеро. Толкучка разливается на километр в поперечнике. Здесь продают и покупают что угодно. Солженицын запечатлел это столпотворение в своем романе «Раковый корпус». Улица Першина, добротные одноэтажные дома, садики ухоженные, тополя и акации – кусок старого города. Кусище целый – до вокзала, до аэропорта. Уютный, милый сердцу одноэтажный район с моей школой посередине. Снесут, переселят на этажи – буду плакать. Сила привычки, данная, как сказал Александр Сергеевич Пушкин, нам свыше. Привыкла и не хочу ничего другого, хотя прекрасно знаю, что новые, с удобствами квартиры куда как лучше. Спускаюсь с насыпи. Прохожу мимо убогих питейных заведений, облепленных лохматым, небритым, неухоженным мужичьем. Вот где нужен бульдозер, и сию же минуту!

«Жалуйся! Не соглашайся! Убеждай! – говорю я себе. – Только не оставайся созерцателем. Тебе не нравится разлитое алкогольное море, оно уже почти убило твоих родителей. Так добивайся, чтобы оно обмелело!»

Так я сама себя агитирую, сама себя накручиваю. До тех пор накручиваю, пока не крепнет убеждение, что не пить самой – мало. Уж не готовлю ли я себя к созданию общества трезвости? Думаю, что достаточно будет создать убеждение, что вино – продукт деликатный, изысканный, оно для праздников, не для каждого дня.

Что у меня к Басову? И что у него ко мне? Что-то проклюнулось близ сердца. Милый нежный росток, с которым мне так хорошо. Но не рано ли гадать, что этот росточек несет в себе? Неизбежность? Горечь разочарования? Свет немеркнущий? Вот, опять размечталась, возомнила и парю. Упаду с тех высот, на которые вознеслась – больно будет. И пусть! Не падать, не ударяться, не набивать синяков бывает, оказывается, куда

больнее. Ибо, когда кругом одни «не», это не жизнь, это существование похуже тюремного. А Басова буду звать просто Борисом. Боря мой Борик!

Нравится быть сентиментальной. Жалеть себя, кого-то обвинять в черствости, лицемерии, себялюбии. Смаковать свое одиночество. Домой я все-таки притопала. Очень просто – ножками, по шпалам. За полтора часа. Устала, как после трудов самых тяжких, но праведных. Летом непременно выберусь в Россию, где березы и сосны, речка медленная, извилистая, и ромашковые поляны, грибы с ягодами. Я так соскучилась по этой дивной прелести. Я изнемогаю, что она так далеко от меня.

15

Легла рано и долго-долго, наверное, до предутренней звездной тишины, лежала с закрытыми глазами. Думала, воображала. Витала. Где только не побывала, чего не видела! Теперь пытаюсь все это вспомнить. Ночь плывет, на дворе тепло, пряная свежесть весны льется в распахнутую форточку. В воздухе обилие четких, негромких звуков. Шаги припозднившегося прохожего. Милая воркотня парня и девушки, которые остановились на углу, у заматеревшего тополя. Дребезжание последнего трамвая, – сколько же от нас до трамвая? Километр? Тяжкая поступь товарного состава по близким рельсам. И вдруг: «Граждане пассажиры! Совершил посадку самолет...» Это уже совсем издалека. Еще один прохожий, напевающий: «Ты меня не любишь, не жалеешь. Разве я не молод, не красив? Не смотря в лицо, от страсти млеешь, мне на плечи руки опустив!» Мечтаю крикнуть вслед: «Иди сюда, я, я тебя пожалею!» Но не крикну, не так воспитана. А почему – не так? Ведь есть, есть на свете человек, которому я нужна. Но как мне его найти?

Пришла минута почти полной тишины. Затем донесся какой-то хрупкий неопознаваемый звук, и я перестала ловить ночные звуки и вникать в них – переключилась на другое. Вспомнила давно прошедшие зимы и мальчиков на улице, и налепленные ими горы снежков. Они забрасывали ими нас, девчат, идущих в школу. О, это были веселые минуты. Снежок, нацеленный в меня и в меня летящий – это первое острое мальчишеское любопытство. Мы шли вдоль деревянного забора, и снежки барабанили по нему, оставляя белые пятна, ударяли по спине, по ногам. Иногда было больно. Мои попутчицы, повизгивая, пускались наутек. А я даже не ускоряла шага. Мое презрение было вызовом, который надлежало примерно наказать, и все снежки устремлялись на меня. Бах-бах-бах-тарарах! Я ставила портфель на плечо, защищая голову, и заставляла себя идти еще медленнее. Мальчишки сопровождали меня, осыпая снежками, улюлюкая. Выдыхались они метров через сто, и я входила в школу непобежденная, но белая и мокрая от налипшего снега и награжденная множеством синяков. Потом мальчики подросли, и я почувствовала происшедшую в них перемену. По-прежнему встречая нас снежками, они теперь целились в тех, кому потом посылали записки, с кем танцевали на школьных вечерах. Снежков, предназначенных персонально мне, становилось все меньше. Так я вошла в мир взрослых отношений. Я рано поняла, что в этом мире я не как все, что мне не дано очаровывать, быть обаятельной, притягивать вожацкие мужские взгляды.

Исчерпав эту тему (исчерпав на сегодня, завтра она снова встанет передо мной во весь свой внушительный рост), я перенеслась в лабораторию. Здесь мне нравится, хотя необыкновенного в ней нет ничего. Я и не тянулась в работе к необыкновенному, оно не для меня. Привычное милее, да и ближе как-то. Только в такой обстановке я могу быть сама собой. Раимов и Басов, их застарелое соперничество, застарелый антагонизм. Лидер формальный и лидер фактический. Или я несправедлива к Раимову? Одно, и очень существенное, я уже подсмотрела. Раимову важно хорошо выглядеть. Вот его лаборатория, вот он, руководитель, и вот заказчики, у которых к нему нет претензий. Это его идеал. Отсюда повышенное внимание к форме, желание получше себя подать. Возможности парфюмерии он использует без тени смущения, как дозволенное и рекомендованное к употреблению средство. Он меняется в лице, когда узнает, что кто-то из сотрудников дурно отозвался о лаборатории или о нем, ее начальнике. Тогда у этого сотрудника начинаются неприятности. Басова форма заботит мало. У него и времени не хватает на такие вещи, – он делает дело. У него пропадает всякий интерес к человеку, который работает спустя рукава. По-моему, плохо работающий человек в его представлении и вовсе не человек, а так, недоразумение какое-то, человекоподобное существо, имеющее с настоящим человеком чисто внешнее сходство. И я целиком с ним согласна, хотя наш молодняк Бориса Борисовича не жалует за его чрезмерное радение. Они, видите ли, здесь никому ничего не должны, а за ту зарплату, которую получают – тем более.

Знакомые песни! А почему это в них проросло? Неужели это сигнал о том, что общество заболевает и нуждается в лечении? Все мы умеем правильно отвечать на вопрос, что есть долг, совесть и так далее. Но правильный ответ на прилюдно заданный вопрос еще не есть убеждение, и чаще всего он указывает на умение держать нос по ветру. Вообще, я не понимаю, как можно работать плохо, а чувствовать себя хорошо. В моем сознании это не укладывается. Я очень рано поняла, даже внушила себе, что плохо работать – себя не уважать, себя высоко не ставить. Где еще, как не на работе, человек в состоянии показать, кто он и что у него за душой?

Разве правильно, что наша лаборатория – бригада коммунистического труда? Разве истинно коммунистический труд и наша работа, часто безалаберная, равноценны? От каждого по способностям при всеобщем прилежании – вот что такое коммунистический труд.

Но разве это я вижу вокруг себя? Усердия вокруг меня нет и близко. И с каких это пор мы с легкостью необыкновенной объявляем о достижении тех высоких рубежей, которые едва обозначились в дали несусветной и для действительного достижения которых может жизни не хватить? Почему мы так плохо стимулируем труд высококачественный, наших умельцев, изобретателей? Понимаю, для страны это очень большой, точнее, злободневный вопрос, и одна я ответить на него не в состоянии. Да и кто я такая, чтобы ко мне прислушивались? Я не настолько умна и сведуща, чтобы давать рецепты миллионам. Этим же озабочены десятки людей, которые вникли в проблему несравненно глубже.

И я вижу, как важно вникнуть, разобраться. Однако сама в этом процессе не участвую, предложений от меня не поступает. Я в стороне! Положим, ничего предосудительного в этом нет. Лаборатория в стороне – и с этим можно смириться. Ведь по краям бурного потока немало тихих заводов. Но и весь наш институт с двумя тысячами работников в стороне. Это как понимать? У нас сотни людей годами не дают полезной отдачи, и это в порядке вещей, это мало кого волнует. Тот же, кто работает за двоих, кто находит и осуществляет интересные решения, мало чего выигрывает в зарплате, часто и вовсе не выигрывает, как наш Басов, и несправедливость такого положения – это, если вдуматься, препятствие такого размера, что об него вся страна давно спотыкается. И быстро его с дороги не уберешь. А пока Варвара и Инесса украдкой почитывают «Юность» и «Новый мир». В рабочее время. А мальчики наши лоботрясничают более откровенно. Сядут на травку и травят баланду. Почему для многих из нас работа – обязанность нудная и неизбывная, но не первая необходимость? Почему многие считают дни до выхода на пенсию, словно только после этого у них и начнется настоящая жизнь? Дожили, ничего не скажешь. Да криком кричать надо от такого положения вещей, от того, что сами создали, сами насадили вокруг себя видимость работы, видимость успехов, и сами громко аплодируем тому, что в действительности давно уже пустозвонство и бег на месте.

А как у них там, за барьером? Там, за барьером, они славно вкалывали за хорошую денежку. Это я знала. Тонкости же, как и благодаря чему это было достигнуто, мне были неведомы. Я знала, что нерадивого там быстро выставляют за дверь, а растущему работнику помогают расти, в том числе и повышая ему зарплату. У нас же, по партийной идее, безработицы не было и быть не должно. Лениям у нас коленкой под зад не надают, негуманно, мол, это. Зато работать спустя рукава, надо полагать, гуманно.

Потом я долго думала о Басове. Я витала, он был рядом. Он был рядом неотлучно, и дали дальние, синий беспредельный простор встречал нас распахнутыми объятиями. Мы побывали в самых романтических уголках планеты. Сибирь с ее глухой тайгой и сумеречным свечением снегов. Канада с нескончаемыми лесами и озерами. Гренландия, страна синего льда и плосколицих эскимосов. И везде я с Борей в одной палатке. По моей воле он становился охотником, рыбаком, лесорубом, золотоискателем, первопроходцем. Я же готовила ему, а потом готовила для всей нашей семьи. О, как я его обожала!

Из Гренландии мы отбыли на парусной яхте и, обходя айсберги, на одном из которых была краска от соприкосновения с бортом «Титаника», спустились в теплые моря, к островам, на которых растут пальмы, а люди обходятся набедренными повязками. Мы купались в море до приятной усталости, а кругом было столько солнца, и песок отмелей был мягок и чист. Затем наступила очередь Африки. Мы приручили слона, и он нес нас напрямик сквозь джунгли и саваны. Чтобы не упасть с его бугристой спины, я крепко обнимала Бориса. Кстати, я обнимала Бориса везде: в тайге на снегу, в палатке, на яхте, у костра, на пляже. Мне нравилось прижаться к нему всем телом; стесняться же было некого. Обезьяны, попугаи – Африка! Я не придумала, куда отправиться из Африки, и мы остались на зеленой поляне: с одной стороны была стена джунглей, с другой – полноводная коричневая река. Крокодилы, бегемоты – Африка! Мы сидели у вечернего костра и смотрели на огонь, и я обнимала Бориса, а из-за наших спин на огонь смотрели животные – обитатели джунглей и обитатели полноводной реки. Ни на что другое моя фантазия уже не была способна.

Потом я как бы протрезвела, встала ножками на твердую землю. Журавль в небе, конечно, пригож, даже великолепен, но дистанция до него была, есть и будет такая, что не преодолеть мне ее ни за какие коврижки. Несбыточно все это. Вот так, только так кончаются все мои фантазии: беру и сама их перечеркиваю и возвращаюсь, пошалив, в тихую свою комнатенку. Все у меня здесь есть, и книги прекрасные, и пластинки, и машинка швейная, но я одна, одна, одна. И Бориса Борисовича не будет со мной никогда. Два дня назад я ехала на работу с Инессой. Мы сшли с трмвая, она что-то говорила мне и вдруг как ударила:

- Смотри, это жена Басова!

Нам навстречу шла женщина лет тридцати пяти, худощавая, стройная до синей зависти. Из таких, на которых оглядываются непременно. Я оторопела. Я и подумать не могла, что она такая завлекательная. Скользнула по нам спокойным взглядом и прошла мимо, машинально посторонившись. Я – и она! Я сникла, и даже мой внутренний голос замолчал, смущенный увиденным.

- Какая женщина! – сказала Инесса. – Слепил он ее, что ли?

Я промолчала и замкнулась. Значит, ничего у меня с Борисом не будет. Я сразу согласилась с этим. Варвара говорила, что они плохо ладят, но это их дело. И потом, откуда Варваре знать, что и как? Едва ли Боря исповедовался ей. Нечего воображать, что он оставит ее ради меня. А его горячая ладонь на моей ладони? Раза два Инесса предлагала познакомить меня с умными мальчиками. Я отказалась. Она посмотрела на меня, как на

дуру набитую. Пусть! Видела я этих мальчиков. Ну, глянусь кому-нибудь с пьяных глаз. Ну, пригласит, сделает одолжение, в пустую комнату, куда больше никто не войдет. Этим все и завершится, продолжения не будет. Романа, романа не будет!

Лучше всего мне на работе. Борис рядом, и я в состоянии горы своротить. Все мне дается легко, с наскока, и идеи посещают меня самые неожиданные. Не раз и не два уже Боря ронял: «А ты способная!» Мне совершенно достаточно того, что он рядом, и бури в моей груди стихают в его присутствии. В его присутствии я легко растекаюсь мыслью по древу.

16

Учусь играть в шахматы. Увлекаюсь, и останавливается время. Раза два, когда мы оставались сверхурочно, к Борису Борисовичу приходил специалист по испытанию конструкций в поляризованном свете, и они садились за шахматы и обо всем забывали. Я злилась, воспринимала это как непрошеное вторжение в мою личную жизнь. Но злиться я могла сколько угодно, запретить же этому инженеру приходить к Боре играть в шахматы не могла. И тогда я поставила перед собой дерзкую задачу заменить его, как партнера по шахматам. Когда-то в пионерском лагере я научилась передвигать фигуры. Красота же этой игры открывается мне только сейчас.

И вот я штудирую дебюты и разбираю партии гроссмейстеров. Если бы кто-нибудь потренировал меня! Но ни одна из моих знакомых шахматами не увлекается. Пешка, например, ходит вперед, она ужасно прямолинейна и не в состоянии свернуть со своего пути. Не потому ли тех, чья мысль – постоянная прямая линия, называют пешками? Но и прямолинейная донельзя пешка таит в себе возможность перевоплощения, для этого надо только достичь последней горизонтали. И пешке, пока она не пала на ратном поле, всегда светит последняя горизонталь. Это ее заветная цель. Конь избрал себе зигзаг, слон – диагональ, ладья – горизонтали и вертикали. Ферзь, вообще, фигура всеядная. А как должна ходить я, живой человек, чтобы найти свое счастье? Кто подскажет? В судьбу, в прорицателей, которым якобы подсказывает астрал, не верю. Но живет теперь во мне мечта стать, на исходе партии, проходной пешкой, достичь заветной восьмой горизонтали. И все переиначить в свою пользу - объявить мат неприятельскому королю, то бишь, моему одиночеству.

Да, на малое я сейчас не замахиваюсь. Уж если займется, так что-то стоящее, надежное, на всю жизнь. Можно сказать обо мне, что я нескромно думаю. А кто из нас скромничает наедине с собой? Я маленькая, я незаметная, никто на меня не смотрит, но вот я напрягла все силы и переступаю незримую черту, за которой все сказочно преобразуется: снег сходит, зеленеет трава, мечты мои сбываются, ко мне спешат за советом и помощью. Уж не мечтаю ли я повелевать? Нет, не мечтаю. Но если бы природа наделила меня должностью верховного судьи и повелителя, я бы напрочь вытравила из человека воинственность, лишила бы порох свойства воспламеняться и взрываться. Я бы приказала человеку не завидовать и свято следовать другим библейским заповедям. Интересно, с чьей легкой руки и по чьему наитию все эти заповеди перекочевали в моральный кодекс строителей коммунизма? Значит, время не властно над ними.

17

Сегодня в первый раз сразилась в шахматы с Борисом. Мы долго заполняли какую-то таблицу, и я заметила, что он стал украдкой поглядывать на дверь. «Шахматный зуд!» – догадалась я. Набралась смелости и предложила: «А не сыграть ли нам партию?»

Он вытаращил глаза. Улыбнулся. Его улыбка вобрала в себя все оттенки снисхождения и близкого торжества. «Ладно», - сказал он, давая понять, что делает мне одолжение. Мы быстро расставили фигуры, и я двинула вперед ферзевую пешку. Он опять улыбнулся, теперь удивленно. Новички, он знал, всегда двигали вперед королевскую пешку. Я очень старалась. Думала, не спешила. По дебюту даже лучше развернула свои фигуры. Еще бы, ведь я так штудировала начала! Но как только кончились проторенные пути и началось испытание самостоятельностью, положение мое быстро стало ухудшаться. Я проморгала пешку, затем отдала ладью за коня. Фигуры черных нацелились на моего короля и замордовали его шахами. Но тут в азарте штурма он просмотрел потерю слона.

- Назад ходы не берем? – спросила я.

- Не берем! – подтвердил он, и я спокойно взяла слона. До этой подставки он не сомневался в выигрыше. Теперь защищаться пришлось ему, и он не нашел ничего лучшего, как объявить мне вечный шах. На его залысинах блеснули бисеринки пота.

- Задала я вам задачу! – сказала я, применяя психологическое давление. – Я отпустила вас с миром, но это в первый и в последний раз. Сейчас я выиграю и посрамлю вас.

- Но-но, Вера Степановна!

- А что? Разве я не молодец? Разве я не загнала вас в угол?

- Сейчас мы приземлим слабый пол и восстановим справедливость.

Он выиграл подряд две партии, увлекся, возомнил и в третьей получил мат при полной доске фигур. Он покраснел от неожиданности. Я увидела матовую комбинацию за несколько ходов и сидела как на иголках: вдруг он ее расстроит? Но у него была другая идея, и он ничего не заметил до объявления ему мата.

Было поздно, и мы сложили шахматы. О таблице он не заикнулся. И мне стала понятна причина его задержек на работе. Ему не хотелось домой, ему была тягостна атмосфера его дома. Его жена, такая элегантная и обаятельная, такая кисонька, когда на нее смотрят другие, с некоторых пор раздражала его, ему было неуютно в ее обществе. Разлад я увидела, но не его причину. А вот суждено ли ему углубиться, и какая здесь роль может быть уготована мне?

18

Ну, дела! Варвара вышла замуж за Гумара Бердыева. Событию этому уже месяц, узнали же мы о нем только сегодня. Они прекрасно все законспирировали: на работу являлись порознь, не ворковали, и Гумар, заходя в нашу комнату, трепался со всеми нами, Варвару не выделяя. Маленькая восточная хитрость. Инесса подскочила от неожиданности. Должна признать, что и я удивлена. Обрядит он ее в панталоны и научит прижимать руку к сердцу в восточном приветствии. Но этот внешнее, а должны быть и глубинные перемены. С другой стороны, женщине двадцать семь, и мысль, что можно остаться без своего очага, свербит, свербит.

Мы поздравили новобрачных и заикнулись о свадьбе.

- Зачем нам свадьба? – с обычным своим недоумением возразила Варвара. Меня покорило. Это ведь такое событие! Будут ли они жить? Варвару я знала чуть-чуть, с краешка, Бердыева – и того меньше. Конечно, они подумали, прежде чем соединять свои судьбы. Варвара, точно, все обдумала, она не любитель самотека. Интернациональная семья! Так с некоторых пор стали называть браки между русскими и нерусскими. Я и слышала от многих, и читала, что такие семьи тоже бывают прочные, хотя сложностей у супругов хоть отбавляй. Да знает ли Варвара узбекский язык, традиции, обычаи? Готова ли она войти в новый для себя мир, оставив на его пороге многое из своего мира?

- Дура! – без обиняков объявила Инесса. – Она еще заплачет. Ну, он сэкономил на свадьбе, на калыме. А чем она думала?

Интересно, на ком остановит свой выбор сама Инесса? И, когда ее выбор станет известен, не отзовется ли кто-нибудь так же нелестно и о нем?

- Теперь твоя очередь, - сказала я.

- И твоя, твоя!

- Но сначала твоя.

Варвара и Гумар Бердыев. Он на год моложе. Ну, а в чем конкретно я сомневаюсь? Верю ли Киплингу, который утверждал, что Запад и Восток никогда не соединятся? Мы, русские, на этой земле представляли западную цивилизацию с христианством в ее сердцевине, узбеки – Азию и мусульманский Восток. Соединимы ли мы надолго, на века? Сие мне не ведомо. Узбеки вовсе не торопятся жить и мыслить на европейский манер. У нас свои исторические и культурные ценности. Тем не менее, сегодня нити единения многочисленны и прочны. Над нами крыша одного государства, у нас единое экономическое пространство, равные права. Но, ведь, есть моменты, импульсы, обычаи, создающие дискомфорт? Мы очень разные. Мы, русские, сознаем это и не делаем из узбеков себе подобных и сами не становимся узбеками, живя в их среде. Но мы и не мешаем узбекам быть узбеками и цели перед собой такой не ставим. Как ни странно, именно это облегчает наше единение. Единение, при котором каждый не перестает быть самим собой. Иначе, наверное, оно невозможно. Мы стимулируем развитие, подъем экономики. Общность целей видна, это бесспорно. А вот различие целей замалчивается и тушется. Чтобы не ставился вопрос о том, что Узбекистаном лучше управлять из Ташкента, чем из Москвы. Этого сегодняшняя Москва ох как не хочет. Без прочных нитей единения между нашими народами нашли ли бы Гумар и Варвара друг друга? Едва ли.

Ну, а я – пошла ли бы я замуж за узбека? Скорее нет, чем да. Умозрительно – нет, не пошла бы. А полюбила бы – и пошла, и делала все, чтобы семья наша была прочной и счастливой. Ко многому пришлось бы привыкать, многое в себе переиначивать, – этого я не отрицала. А как же иначе? Не делать того, что не нравится человеку, которого ты любишь, но делать все то, что ему нравится – первое условие нормальной семейной жизни. Итак, по любви я бы пошла и за узбека, и за корейца, и за татарина, и за армянина. Хотя русский вариант был бы самым желанным и предпочтительным. Никогда не считала и не считаю, что человек иной национальности хуже или ниже меня, русской. Люди равны, такими их создала природа. Это и мой принцип, и на этом принципе основано единение русских с узбеками и со всеми другими народами, которые они собрали в одной стране. Но будет куда лучше, если я выйду замуж за русского. За человека из своей среды. Хотя, так ли уж чисто русская я по предкам? Десять поколений назад у меня было 1024 предка, для удобства – тысяча. Двадцать поколений назад – миллион. Каких-нибудь полтысячи лет назад у меня было миллион предков! Неужели все они – русские? И важно ли это на данный момент? Не дети ли мы планеты Земля? И разные мы языком и культурой, но не человеческим своим естеством!

Пошла с Инессой на день рождения к одному парню. И теперь я чужая сама себе. Сама себе противна. Слез нет, одно стойкое отвращение. Не смотрю Борису в глаза, словно предала его на ровном месте. Два вечера не играю с ним в шахматы. «Уж не влюбилась ли ты?» – поинтересовался он. Куда там! Знал бы он про эту вечеринку – о, как бы он меня презирал, как бы стал смотреть свысока! Да он забрезговал бы мною! Но пока вокруг тишь да гладь, Инесса не из болтливых. А я – зачем пошла, куда смотрела, о чем думала? И что за несовременный характер – не умею отказывать людям! А, может, не в характере вовсе дело, а в том, что мне хотелось как раз того, что произошло? Взяла и сняла самоограничения. Нафантазировала себе невесть что. А теперь стыдно и мерзко. Мелкая преотвратная дрожь, как при переохлаждении. Ай, Инна, ай, подружка! Но довольно уничижительных эмоций, сначала надо дело изложить. Где, что, когда, какие обстоятельства тому сопутствовали, и так далее.

Парня, к которому мы пришли, звали Константином. Высокий стройный блондин моих лет. Глаза бесцветные, а взгляд цепкий, оценивающий, глубокий. Редущие волосы. Руки мягкие, привычные к ручке, ложке, гитаре. Галантная улыбка. Известный, по словам Инессы, социолог. «Понятно!» – подумала я, хотя понятно было только то, что передо мной не случайный человек. Инесса представила меня. Мой подарок – набор галстуков – Константин принял с доброй улыбкой. «Ну, зачем вы потратились? – сказал он. – Мы не балуем друг друга такими знаками внимания». Действительно, Инна пришла без подарка.

Мы припозднились, но нас не ждала большая компания. Единственного гостя, друга Константина, звали Леонид. Это был видный парень. Кудрявый. Глаза витийствующие, непредсказуемые. Пожимая мне руку, он смутился и, в свою очередь, смутил меня своей мальчишеской стеснительностью.

- Вы двое – и все? – воскликнула Инесса. – Это же чудесно! Разговеемся по всей чести!

«Проснулась? Ожила? Воспарила? – подумала я. – Это тебе не работа».

Я села рядом с Леонидом. Он нависал надо мной, как глыба. Застенчивость быстро оставила его, и он стал весел и остроумен. Ухаживать за мной начал сразу же: наполнил бокал розовым вином, предложил винегрета, сыра, ветчины. Сказал, что надежда и любовь от него не уйдут, все впереди – надейся и жди, но все это должна предварять вера, и вот Вера рядом с ним, и под ее благотворным влиянием жизнь его войдет в желанное русло. Я, конечно, вольна выпить с ними или не пить, здесь никого не неволят, здесь каждый остается сам собой, и потому ни у кого ни к кому не бывает претензий. Но лучше мне выпить со всеми. Дело не в том, что их общему другу чудико Костику, большому специалисту по трудовым ресурсам и женским талиям – он, проказник этакий, их часто портит, - исполняется двадцать девять. Дата эта не круглая и ни к чему никого не обязывает; может быть, он и присочинил, что сегодня у него день рождения, он это умеет. Дело в том, что все мы живем один раз, и молоды будем не долго. Уже, можно сказать, не молоды, и потому надо не только работать, как полагается, но и жить в свое удовольствие. Тут Константин заулыбался и облизнулся, сказанное одобряя, а Инесса посмотрела ему в глаза призывно и нежно, и он положил ладонь на ее талию, словно недоумевал, как такую точеную талию, талию-загляденье, можно испортить.

- За Константина! – провозгласил Леонид. – За то, чтобы в день, когда любимая подруга принесет этому закоренелому холостяку белый сверток с говорящей куклой, в нем проснулись святые отцовские чувства.

Инна вспыхнула от столь прозрачного намека, но тост поддержала. Все выпили, я тоже поднесла вино к губам. Вино было марочное, с тонким ароматом муската. Стало посвободнее. Впрочем, скованным здесь себя не чувствовал никто, кроме меня. Вскоре компания и вовсе раскрепостилась. Одна я, верная своему правилу, после двух бокалов вина перешла на ташкентскую воду, подкрашивая ее пепси-колой до цвета крепко заваренного чая. Константин стал было рассказывать про свой государственный комитет по труду, наполненный бестолковщиной, но Леонид тотчас пресек это: «Ни слова о работе! У нас здесь что, производственное совещание, а ты – докладчик? У нас здесь совсем другое мероприятие!»

Стол пустел, лица румянились, глаза ярчали, характеры обнажались. Потек громкий разговор ни о чем. Каждый слышал только себя. Инесса была великолепно. Это была ее жизнь, и она томилась и скучала на работе, чтобы расцветать вот на таких вечеринках. С Константином, как я поняла, ее связывали давние отношения. Но что-то мешало им жить под одной крышей. Раскрасневшись, Инна потребовала анекдотов. И они полились чуть ли не рекой. Я увидела, что самые непристойные проникают в нее глубже других. Меня она не стеснялась, мужчин и подавно. Она была в своем узком кругу. Но сегодня девушка Леонида не смогла прийти или надоела ему и не была приглашена. Возникла вакансия, Инесса сыграла роль заведующей отделом кадров. Все, как на ладони. Я попробовала представить Инессу матерью, а Константина – отцом. И это получилось, хотя атмосфера нашего застолья была богемная-богемная.

- Танцы! – скомандовал Леонид. Он был высок, но рыхловат, и теперь я обратила на это внимание. Немедленно был задействован магнитофон. Стол мы придвинули к стене. Из одного бокала пролилось, но это было пустяком. Танцевали что-то быстрое и вертлявое. Инна и Костя вытворяли чудеса. Я присматривалась, тихо балдея. Инесса сделала несколько попыток встать на голову, не беспокоясь о том, какое положение примет ее

юбка. «Пошли-ка! – позвал меня Леонид. – У тебя получится. Только не прилагай ни ума, ни напряжения». Я еще немного постояла у стены и поняла: надо двигаться или дергаться, соблюдая ритм. Все это походило на вычурные и первобытные, непредсказуемые телодвижения людей у жаркого костра после удачной охоты. Грубо властвовали инстинкты, разум отдыхал, выключенный за ненадобностью. Быть дикарем и проще, и приятнее, чем быть современным человеком, которого долго и нудно воспитывали семья и школа. Я смотрела и училась. А когда поняла, что постигать, собственно, нечего, смело ступила в круг, завертела бедрами и задом, задвигала плечами, руками.

- Верка, ты талант! – крикнула Инесса. Она перетрудилась и теперь жадно ловила воздух белозубым ртом. У нее и зубы были загляденые. «Вот вам! – радовалась я. – Смотрите! Учитесь! Завидуйте!» На меня нахлынуло. Леонид вначале танцевал рядом, не дотрагиваясь до меня, но быстро вошел во вкус и стал вертеть меня, как погремушку. Перебрасывал с руки на руку, заставлял падать на спину, подхватывая меня у самого пола – я почти касалась прической паркета. Это было эффектно, Константин нам хлопал. Надо было, чтобы Инна не задавалась. Может быть, она и не задавалась нисколько, а просто была сама собой, но при этом так возвышалась надо мной, что я смотрела на нее снизу вверх, и это начинало мне не нравится. Я выкладывалась, чтобы затмить ее. Конечно, я поплатилась: не завидуй, Вера! В один из моментов, когда я опрокидывалась на спину, Леонид подхватил меня чуть-чуть позже, чем следовало, и я преобольно чмокнулась затылком об пол. Я поднялась сама и не показала вида, что мне больно.

- Здорово! – воскликнул Леонид. – Извини, моя вина: люблю порисоваться.

Костя ощупал мой затылок, задержал пальцы на небольшой шишке и во всеуслышание заявил, что до свадьбы эта вава заживет, если, конечно, я не надумаю выйти замуж сегодня же. Вообще, юмор здесь не иссякал, но выше этого уровня не поднимался. Утомившись, мы водворили стол на прежнее место. Появились чай и сладости, но мужчины снова потянулись к вину. Наконец, после очередного сумбурного тоста выяснилось, что все бутылки пусты и пить больше нечего. Наступила минута размежевания пар. Константин увлек Инессу в одну из дверей. Она пошла за ним, не краснея и не оглядываясь на меня. Сейчас она подарит имениннику себя. Так-то, дорогая моя недотрога! Мы остались одни. Леонид медлил определить свои намерения, мне же было любопытно. О Борисе Борисовиче я не думала. Я вообще ни о чем не думала, я разрешила себе это. «Пошли?» – наконец, пригласил он. И выжидательно посмотрел на меня. Он не настаивал, Боже упаси! Он предлагал решать мне. За мной оставалось право надеть плащ и уйти, он бы не возразил, а вышел бы со мной, чтобы проводить до остановки. Близость с женщиной не была для него событием. Я увидела это и не обиделась. Напротив, это и подтолкнуло меня.

Я подала ему руку, и вторая пустая комната приняла нас. Мы были в небольшом уютном кабинете с массой книг по архитектуре и строительному делу. На диване предусмотрительно была постлана чистая простыня. Сориентировавшись в обстановке, Леонид потушил свет.

У меня этого не было десять лет. Обходила, не умела найти партнера, но стервой не стала. Десять лет моего воздержания можно было бы отметить сегодня, как мы отметили Костин день рождения. И опять – все спонтанно, случайно, как крохи с чужого стола. После света тьма сначала была сплошная, потом обозначился прямоугольник окна. Зашуршала сбрасываемая одежда. Пусть он разденется первый и немного поедится, ожидая меня. Мелькнуло, как наваждение: вот бы забеременеть! Забеременеть хочу – мать честная! Ребеночка хочу, а больше ничего не хочу! Я и ребенок, сынок или доченька долгожданная – вот цель, обретенная на много лет вперед. И тогда конец одиночеству!

Диван взвизгнул древними пружинами под тяжестью Леонида. Я быстро расстегнула молнию, пуговицы и прочие застежки, и одежда вместе с бельем белым комом осела на пол. Подумала, что Инесса тоже ничего на себе не оставила. Холод обьял меня, но стыда не было совершенно. Я шагнула к дивану. Рука Леонида встретила меня. Он старался быть нежным, но нам очень не хватало репетиций для того, чтобы все было прекрасно. Праздника, увы, не последовало. Не буду вдаваться в подробности, они здесь ни к чему, им нельзя покидать меня, распространяться. Когда все завершилось, я увидела, что это не праздник. Можно было попытаться заснуть, можно было подождать повторения. Но мне не хотелось спать с ним, а ему – со мной. Он тоже чего-то недополучил. Простыня не грела, а одеяло не было предусмотрено программой. Мы оделись в темноте и скользнули в столовую. Стенные часы пробили один раз. Час или половина первого? Я не посмотрела на часы. «Мне пора», - сказала я. Стыд еще не навалился, не подмял. Я подумала, что угрызения совести – не для нашего расчетливого, рассудочного, циничного поколения, и если так пойдет и дальше, я просто буду оправлять после этого платье. Леонид плеснул себе в рот остатки из чужого стакана: освежился. Сказал: «Сейчас поймаем телегу, и я отвезу тебя». Заботится, а мог бы не беспокоиться. Есть ли у меня сдерживающие центры, спросила я себя. Мне становилось нехорошо.

- Переживаешь? – увидел он и удивился. – Пожалуйста, не надо, это не тот случай. Ты не нарушила ни одного запрета, и я тоже. Эх, мать, какая же ты необученная! Он хотел сказать «необъезженная», но в последний момент заменил это грубое слово более благозвучным.

- Благодарю за внимание, но я не переживаю.

- Позволь мне не поверить.

- Позволю.

Говорить вдруг стало не о чем, точки соприкосновения исчезли. Мы вышли на свежий воздух. Апрельская ночь струилась тихо и была чиста и прохладна. Мягкое прикосновение воздуха к горячим щекам было лучше всего того ханжеского, что мог сказать Леонид в свое оправдание. А что я могла сказать? Я обозвала себя нехорошими словами. Не стало ни лучше, ни хуже. Никто меня не принуждал, но, ведь, ничто и не удержало. Даже призрачный Бэ-Бэ не удержал. Почему же я внушила себе, что люблю Бориса Борисовича?

Такси мы поймали сразу. Леонид молчал, словно мы были мужем и женой со стажем. О чем, собственно, было говорить? Что случилось-произошло? В этот полночный час летописцы не зафиксировали ни акта агрессии, ни стихийного бедствия. Не случилось ничего такого, что могло заинтересовать широкую общественность. И все же пришло раскаяние. В последующие дни я никому не смотрела в глаза. Ни с кем не заговаривала, только отвечала на вопросы. Инесса, считавшая, что благодетельствовала меня, раз или два упрекнула меня в неблагодарности. По всем канонам, она старалась, она была так добра. Я отмолчалась. Знакомо ли ей раскаяние, или для этого нужен особый повод?

Ждала ли я продолжения? Хотела ли, чтобы оно было? И ждала, и хотела.

20

Да, ждала и хотела. И потому чувствую себя привязанной к позорному столбу. Каждый вправе бросить в меня камень, и то, что никто этим правом почему-то не пользуется, не оправдание моему поступку. В одном я уверена: мною не владели низменные побуждения. Почему же я тогда сама себе негодна? Потому, что живу без любви, вне любви. Леонид обнимал меня крепкими, но бесстрастными руками. Словно к вещи прикасался безответной, случайно оказавшейся в его распоряжении. Или я слишком строга к себе, слишком привередлива? Ладно, он прикасался к вещи, а к чему прикасалась я? Не к огню же всепроникающему! Я запрещала себе думать об этом, но проходила минута, и я убеждалась, что это никуда от меня не ушло. Происшедшее воссоздавалось, мельчайшие детали всплывали и обволакивали, укоряя. Тогда я кричала: «Хватит! Хватит этого вздорного детского самобичевания, никто тебя не поймет!»

Всю жизнь, сколько я себя помню, я копалась в себе, и это одна из причин моего несчастья. Проще надо жить. Но кто мне скажет-пояснит, как это – проще? Сегодня Боря трижды спросил, что со мной. А я не ответила ничего вразумительного. После второго его вопроса об одном и том же и моего жалкого лепета, не содержащего ответа, я поняла, что он спросит меня об этом же еще раз, но все равно не сумела подготовиться. Мечтать теперь о Борисе Борисовиче – низость и подлость. А Инесса – светская дама. У нее все хорошо, смотрите, завидуйте и подражайте, если захотите, конечно. И еще если сумеете. Я вот думаю о ней без уважения, а в душе рождается голос: «Не осуждай человека только за то, что он не похож на тебя». Разве я ее за это осуждаю? Только за ветреность и легкомыслие. А за непохожесть – люблю! Да, да, люблю!

С Басовым играть в шахматы не сажусь. «Я хочу обязательно доделать это и вот это!» И он отступается. Но я ловлю на себе его пытливый взгляд. Ему интересно, что со мной происходит и каким образом это может сказаться на моем отношении к нему. А не воображаю ли я, не придумываю ли? Да, придумываю: вдруг он решится на что-нибудь серьезное, и как тогда буду выглядеть я? Не от этих ли мыслей у меня в груди одна сплошная не расслабывающаяся спазма, и хочется запустить туда руку и навести порядок. Вот Инна, полагаю я, прекрасно совместила бы Леонида и Бориса Борисовича. Двойной успех только поднял бы ее в своих глазах, только возвеличил бы. Один выстрел, два убитых зайца, торжество победителя, охотничий азарт только распалается: на ловца и зверь бежит. Бац-бац, и зверь отбежался.

А раскаяние – по какому такому поводу? Почему же я вечно пребываю в разладе с собой?

- Вера, что с тобой?

У Басова добрые вопрошающие глаза. Я отвечаю, что у меня все хорошо, смотрю на него, стараюсь и взглядом сказать то же самое. А как хочется провалиться сквозь землю! Одна-единственная мысль пульсирует во мне, и направлена она против меня. «Недостойная!» И мне жутко, а Инессе хоть бы что.

- Ты больна? – допытывается Басов.

- Спасибо за внимание, я здорова.

- Ты будешь праздновать с лабораторией Первое мая?

Надо согласиться, и я соглашаюсь. Люблю этот праздник, в нем торжество весны и обещание красивых перемен. До него еще три дня, а через три дня мне будет не так больно. Даже завтра будет не так больно. А увижу, что беременна, – прыгать стану от счастья. До потолка подпрыгну, так мне будет хорошо.

Басов отходит хмурый, озабоченный. Он неравнодушен ко мне, я ему интересна. Это открытие. Но оно лишь усиливает боль, делает ее пронзительной. А у Инессы на языке один вопрос: «Ну, и каково твое впечатление?» Я могу хлопнуть ее по плечу: «Ты золото, Инка! Ты так меня выручила!» Вот чего она ждет. Ждет обыкновенной человеческой благодарности. Жаждет прямо. И недоумевает, почему благодарность запаздывает. Благодарность же запаздывает потому, что я не такая, как ты, Инна.

- Давай пройдемся! – предложила Инесса в обеденный перерыв. – Ты какая-то растрепанная, неухоженная, смурная. Что с тобой, дорогая?

- Ну, что может быть со мной? – сказала я, покорно следуя за ней. Мы спустились к угрюмому каналу Бурджар, пропилившему себе глубокий каньон в могучем лессовом пласту. У воды рос кустарник, а трава была высокая, сочная, со множеством желтых крапинок – это цвели одуванчики. Мы шли по траве и безжалостно ее мяли. Выпрямится! Человек, и тот выпрямляется, как его ни пригибай долу.

- Как здесь прелестно! – воскликнула Инна. – Влюбляйся и приходи сюда со своим парнем. Кстати, как тебе мой Константин?

- По-моему, он несколько подзадержался в нежном юношеском возрасте. По-моему, вы давно могли бы жить нормальной семейной жизнью, и ты бы уже водила в детский садик какое-нибудь прелестное существо, - сказала я. Этого заключения она не ожидала. Она заморгала и не произнесла ни единого слова в оправдание свое и Константина. Ведь время, заповеданное природой для материнства, уходило бездарно, как вода в песок. – Спасибо, но больше на меня не рассчитывай, - сказала я еще.

- Обожглась? Быть того не может. Леня – парень без извращений.

- А ты откуда знаешь?

- Значит, знаю.

- До Константина у тебя был Леонид?

- Не мели чушь.

Мы сели. Берег купался в солнце. На том берегу в зелень травы были вкраплены нестерпимо красные головки маков. Это были первые маки, а потом там все будет красное.

- Странная ты, словно не от мира сего, - сказала Инесса. – Я надеялась, что тебе понравится наш междусобойчик, а ты нос воротить: я не такая, я жду трамвая! Ну, и жди, только дождешься ли? Вопросик маленький, а попробуй, дай на него исчерпывающий ответ!

- Ты тоже бываешь права, - ответила я вполне миролюбиво, невпопад только.

- Я ведь знаю, что никого у тебя нет, вот и постаралась. А ты ведешь себя так, словно я впутала тебя в недозволенное. Лобик морщишь и носик воротить. Ленечка... он не трепло! Он, если желаешь знать, во многом лучше моего Константина. Он надежнее, прочнее. Солиднее! И, если было бы можно, я бы поменялась. Хоть сейчас бы поменялась! Вот как я с тобой разоткровенничалась.

- Ладно тебе, - сказала я. Очень не хотелось пускать ее к себе в душу, отвечать откровенностью на ее откровенность. Я поборолла острое желание бросить ей в лицо что-то резкое, обидное, злое, пригвождающее к позорному столбу. Хотя ее-то за что к позорному столбу? И не надо обвинений. Она лучше не станет, у меня же не будет и такой подруги. Если бы я не сдержалась, я бы потом очень жалела об этом. Так уже было много раз, и это научило меня сдержанности. Обругать, выместить зло легче легкого. Только потом уже никакими извинениями не возвратишь бывшего тепла, бывшей искренности отношений.

- Неблагодарная ты, - повторила свой упрек Инна. Но интонации ее голоса содержали прощение. «Спасибо! – поблагодарила я. – И извини меня за мои метания!»

- Это что, запоздалое раскаяние в своем жлобском поведении?

- Самое искреннее. Я не живу в долг, не беру займы.

- Ну, ладно, ладно! Не заводишь, ты и так заведена до упора. Как раз сегодня я на тебя рассчитывала. То же место, те же мальчики, то же время. Подумай и ответь. Но учти, что высказывания опрометчивые слушать не стану.

- Понимаешь, это не для меня. Пойми и прости.

- А кто тебя принуждает? У нас это не принято. Да – да, нет – нет. Значит, тебе предназначено что-то другое. У нас все только так. Приходи запросто и будь сама собой. Заскучаешь, засомневаешься – закругляешься и уходишь в ту же минуту.

- К вам не принято приходить просто так. Мне заявят: «Ты зачем сюда явилась?» – «Просто так», - отвечу я. – «Дура, - скажут мне, - вали отсюда!»

- Тебе так скажут, но, ведь, не на полном серьезе! Ты можешь сколько угодно быть паинькой. Только сначала подумай хорошенько, надо ли тебе ею быть.

- Я хочу быть паинькой. Но я лучше не пойду – можно?

- Вольному воля. Но все-таки подумай еще. – Она поднялась, оправила платье. Потянулась, вскинула вверх руки. Какая она ладная! Грудь, талия, бедра, – смотри и ликуй! Почему же Константин раздумывает? Колеблется? Не спешит вступить в законное и постоянное владение? Было – и прошло? Почему – прошло? От нашего неумного стремления везде поспеть и всего отвесть?

- Не гони лошадок, Инночка! – сказала я как можно дружелюбнее. – Здесь, оказывается, так мило. Какое солнце! И одуванчики, и маки. Ну, не выйдешь ты замуж за Константина, – что скажешь потом человеку, который станет твоим мужем?

- Этот человек ни о чем не спросит, сейчас это не принято. И я его ни о чем таком не спрошу. Счет верности можно вести со дня знакомства, не ранее. Вообще же, милая, не утруждай себя моралью наших бабушек, она безнадежно устарела. Знаешь, меня трудно пронять. Жизнь, которая у нас сейчас, быстро упрощает человеческие отношения.

- Я не пронять, я понять тебя хочу. А принимать, воспитывать – это не по моей части.

- И зачем ты хочешь меня понять?

- Чтобы, как принято среди людей, быть тебе полезной.

- Если бы ты не смотрела на своего Бориса Борисовича снизу вверх, не было бы этой бури в стакане воды. Ты проще живи. Не понимаю, зачем тебе воротить нос от Леонида, даже если ты положила глаз на Басова. Совмести их, и у тебя не жизнь будет – загляденье! Чем больше в жизни таких крутых поворотов, тем она интереснее. Совмести Басова и Леньку, и у тебя начнется настоящая жизнь.

- Ты в это искренне веришь? Я немного, но не такая, как ты.

- А ты умнее, чем я думала. Прости, об этом не говорят, – сорвалось. – Она села, увидела близко одинокий мак, потянулась к нему, стала дуть на огненную его головку. Лепестки держались крепко. Тогда она оборвала их, прилепила к губам. Спросила: «Лучше помады? Ярче, правда? Правда, с такими губами я настоящая цыганка? Эх, всему миру бросила бы вызов! Еще раз, еще раз, еще много, много раз!»

- Что у тебя с Константином?

- Слушай, если тебе интересно. Слушай, и, может быть, ты перестанешь думать обо мне плохо. Принимаешь это условие? – Она требовательно на меня посмотрела, мгновенно превратившись из беспечной девушки в зрелую женщину, запомнившую уроки каждого из прожитых годов. Она просила не видеть в ее поведении ничего предосудительного и не быть ей судьей более строгим, чем она сама.

Я усмехнулась, ощутив над ней некоторую власть (давно ли она стала со мной считаться?).

- Ты такая красивая, что о тебе нельзя думать плохо, – откровенно польстила я. Она улыбнулась, словно красота действительно могла все списать, и размолвка осталась позади.

- Я знаю Костю со школы. Нас потянуло друг к другу в шестнадцать лет. Мы встречались, стали близки – о, это были такие сладкие дни! Это случилось само собой, ведь это было любовью. Я мечтала выйти замуж за него тогда же, но он убедил меня, что брак – анахронизм, что жизнь под одной крышей скоро приестся, любовь сменится привычкой, да и дети закабалят. Жизнь под одной крышей – это неизбежное разочарование, доказывал он. Зачем же готовить себе такую участь?

«Дети защитили бы вас от остывания», – подумала я. Я бы и с себя сняла всякую вину, если бы почувствовала, что беременна.

- Я подчинилась, я не представляла жизни без него. Он поставил условием, что будет жить со мной только так, и я подчинилась. Глупо, правда? Его хата – проходной двор. Взбрыкну я, – появится другая. Иногда я устраивала перерывы. Он не скучал по мне, и я первая возвращалась к тому, что было. Но я не хочу, чтобы это продолжалось дальше. Я хочу иметь ребенка, и не одного!

- Я помогу тебе! – воскликнула я.

- Согласна, но как?

- Пока не знаю. Знаю только, что помогу. Неделю буду думать, но придумаю. – Она нуждалась в моей помощи, и это меня окрыляло. Кто я рядом с ней, в сравнении с ней? Заморыш, тень несчастная. Но я, я, гадкий утенок, приду к ней на помощь!

Завтра Первое мая. По этому поводу лаборатория устроила маленький фестиваль. Так наши мальчики называют искристые застолья вскладчину. Себя я уже не истязала, но много думала об Инессе. Не жена и не невеста, птичьи какие-то отношения и птичьи права. Тупик, если вдуматься. Подвешенное состояние. Как все это переиначить? А что я предприняла бы в ее положении? То, что эта красивая женщина глубоко несчастна и артистически это скрывает, поразило меня в самое сердце. Я обязательно что-нибудь придумаю. Непременно открою глаза Константину. Значит, роль свахи – и да здравствуют угрызения совести? «Вера, – говорю я себе, – для того, чтобы появились угрызения, нужна первооснова. Есть ли у Константина совесть и не оттеснена ли на такие отдаленные задворки души, что до нее не доберешься?»

Исподтишка я наблюдаю за Басовым. На нем новый синий костюм с большими накладными карманами. Он гладко выбрит, подтянут и, кажется, что-то предвкушает. Сразу помолодел. Наблюдая за ним, я проморгала уход Инессы. Ее хватились, когда стали садиться за стол. Варвара съязвила что-то насчет несоответствия убогой нашей компании ее возвышенным вкусам, но другие от комментариев воздержались, оставили Варвару в гордом одиночестве. Столы накрыли в самой большой комнате. Сели, посмотрели друг другу в глаза, улыбнулись, наполнили бокалы, то есть пиалы. Раимов сказал слово, ему зааплодировали. Сдвинули пиалы. И в продолжении десяти минут сдвинули их еще раза три. Борис Борисович сидел рядом со мной. Я была польщена, так заботливо и трогательно он ухаживал.

- Танцы! – вдруг потребовала юная Марго. Я придвинулась к Борису и сказала: «Не пейте больше, пожалуйста. Идемте танцевать!»

- Этой премудрости не обучен, - возразил он, но к вину больше не притронулся. Мягко коснулся ладонью моего плеча. Я встрепенулась, но он распорядился: «Сиди и не мельтеши! Пусть молодежь резвится, а я по этой части рядовой необученный!»

Раимов вскоре ушел, чтобы не присутствовать на банальной пьянке. Марго включила магнитофон, но мальчикам все еще было не до нее. Применяв силу, я оторвала Басова от стула, и он послушно поплелся танцевать. Когда меняли кассету, я спрятала одну бутылку водки за урну с мусором. Маневр прошел незамеченным. Надо только потом незаметно вернуть ее в холодильник. Мы танцевали до упаду. Кажется, я перетанцевала всех, и буйную Марго в том числе. Марго была поражена моей неожиданной неистовостью.

- Где еще бутылек? – забеспокоился Макс. – Кто заначил? Пригвоздим к позорному столбу!

- Гумар. Он обожает заначки. Он даже Варвару заначил, не спросив ничего разрешения.

- Гумар, экспроприатор общей собственности! Возврати бутылек!

- Вай-бой! – запричитал счастливый молодожен Гумар, выпячивая глаза. – Я не балуюсь этим со дня свадьбы. Я готовлюсь стать папой. – Его непосредственность была бесподобна.

- Какой свадьбы? – спросил Макс. – Чьей свадьбы? Ты зажил свадьбу. Ты женился втихую, как будто это не первый твой брак. Скажи прямо: ты специально женился на русской, чтобы зажать свадьбу?

Мы оставили молодежь выяснять отношения. Но чтобы они в этом деле не зашли слишком далеко, я указала Максу на урну. «Какое неуважение к любимому напитку трудящихся!» – театрально воскликнул он. Бутылку торжественно извлекли из тени, и поднявшаяся вокруг нее веселая возня позволила нам ускользнуть незаметно. Обилие света ослепило нас. Закатное солнце озорно заглядывало нам в глаза.

- Ну, и куда мы? – спросил Борис и странно на меня посмотрел. – Ты что предлагаешь? Ты предлагай, я соглашусь. Я, кажется, влюбился.

- Если в меня, то я приветствую ваш безответственный поступок! – смело сказала я.

- В тебя, Вера, в тебя. Ты чудесная женщина, но ты этого не знаешь. Мы будем пить чай и играть в шахматы. У тебя есть шахматы?

- У меня есть все. Почему вам так захотелось сегодня выпить?

- Мне? Вот уж нет. Да и было – на один раз пригубить.

- Мне пришлось вас удерживать, и на это обратили внимание.

- Вера, пожалуйста, не надо! Как надоело мне выслушивать все это от...

И тут я остановилась. Ни одного упрека более, ни одного назидания. Не нотаций он ждет от меня, он ими сыт по горло. Ему должно быть хорошо со мной, и он будет со мной. И у меня достанет ума вести себя так, чтобы ему было со мной легко и уютно.

- Вы, однако, мгновенно реагируете на критику! – сказала я. – Другой бы поблагодарил и принял к сведению. Вы бесподобны в своем неприятии критики. Вы превращаетесь в драчливого петуха. Или в быка, которому показывают красный плащ.

Он поднял руку, частник услужливо затормозил, и мы поехали. По двору я шла, потупясь. Я усадила Бориса в кресло, загрузила кофемолку пахучими бразильскими зернами, и вскоре мы пили бодрящий заморский напиток и вдыхали в себя ароматы тропиков. «Я бы выпил чего-нибудь более существенного, - сказал Борис. – Я бы после этого стоически перенес еще одну порцию назиданий».

- Вы не получите ни того, ни другого. – Я достала шахматы. – Расставляйте! И бойтесь меня, я в прекрасной форме. Я сегодня волкодав шахматный.

- А я в какой форме? – поинтересовался он.

- Делайте зарядку, ходите пешком и меньше ковыряйтесь в своей душе, и у вас не будет причин быть не в форме.

- Сколько мудрых советов за один предпраздничный день! И, ведь, еще не вечер.

- Уже вечер, - сказала я. – Хотите музыку? У меня чудесные диски.

- Если можно, пусть попойет Пугачева. Аллочка божественно поет.

- Вы ее любите? Вульгарная бабища.

- Но, ведь, талантлива, чертовка! Талантлива необыкновенно, - сказал он с обезоруживающей улыбкой. – Талантам мы прощаем не одну вульгарность, но и многие другие отклонения от нормы. На этом и на многих других примерах я вижу, что талант и норма – вещи, мало совместимые.

Неужели моя мечта исполняется? Вот он, а вот я – вот мы, и под одной крышей. Мы! Счастье-то какое! Не закружиться бы в этом хмелю!

- Твой ход, женщина, - напомнил Борис. – Не витай неизвестно где или бери меня с собой на свои розовые облака, я согласен.

Я пошла и вскоре создала ему угрозу. «Брать ли вас с собой в мои витания? - сказала я. – Это вопрос. Тут нужен совет бывалого человека. Я не знаю, как вы себя там поведете. Совместное витание подразумевает

гармонию. Пока же, в ожидании такого совета, я возьму вашего ферзя». – Я сделала связку, и его позиция сразу стала безнадежна.

- Однако! – оторопел он от быстроты нашедшего на него фиаско. – Наглядно и убедительно. Чтобы не мнил о себе. Чтобы не возносился.

- Можете мнить, и можете возноситься, но до поры до времени. Любое витание кончается прозаическим приземлением.

Я достала фарфоровую чашку с врубелевской царевной-лебедем, выписанной с необыкновенным тщанием. Тончайший дулевский фарфор, произведение искусства. Как эта чашка у меня оказалась, кто подарил? Я не помнила. Мать приобрести ее не могла, значит, у нее были более древние корни. Сама я этой чашкой не пользовалась никогда.

- Боязно прикасаться, - сказал он, любуясь сиреневыми крыльями женщины-лебедя.

Запела Алла Пугачева. Это, конечно, был голос. Страстной силой и тайной несбывшегося он проникал в душу, и оставался в ней, и согревал. Имел такое свойство.

- А ты утверждаешь, что Алла Борисовна вульгарна. Ну и что? Разве в этом ее сила? Ее вульгарность второстепенна и даже третьестепенна.

- Да, ну и что? – Я улыбнулась и позволила ему отыграться, сознательно не сделав пару сильных ходов – этого было достаточно. Он воспрянул духом. Я приготовила свежий кофе, более крепкий, ведь ему хотелось крепкого. Спросила: «Ничья, конечно, вас не устроит? Сразимся еще?» Он по-мальчишески поскреб затылок. Сказал: «А ты крепкий орешек. И когда ты поднаторела? Еще побреешь и начнешь смотреть свысока. Давай остановимся и будем считать, что победила дружба».

Пугачева пела, словно вещала. Конечно, талант она была необыкновенный. До высоких небес она поднималась, нисколько себя не напрягая.

- Нужно выходить за рамки привычного, чтобы покорять, - сказала я, имея в виду Пугачеву.

- За рамки приличий? – переспросил он.

- Привычного, - поправила я. – Это первое правило для тех, кто посвящает свою жизнь искусству. В рамках привычного нет искусства. Всегда должен быть рывок в сторону.

- Ну, и чем теперь мы займемся? - сказал он. И посмотрел на меня, повторяя и усиливая намек глазами. Призыв я уловила, но какой-то замедленный, нерешительный, негромкий, неявный.

- Мой дом – ваш дом. Пожалуйста, будьте, как дома.

Он подошел и обнял меня. Я прижала голову к его плечу. Услышала частые, гулкие удары сердца. Его ладонь легла на мою голову, погладила. Было хорошо, – лучше не бывает. Я посмотрела ему в глаза – снизу вверх. Увидела синее, глубокое, нежное, неожиданное. Увидела в следующую секунду волны смятения, пожар смятения, вихрь смятения, раздвоенность и неумение остановить свой выбор на одной из открывшихся ему дорог.

- Не надо сложностей! – повторила я. – Будьте самим собой и делайте только то, чего потом вам не придется стыдиться.

- Как ты догадалась, что я боюсь завтрашних приступов стыда?

- У вас глаза откровенные.

- Умница ты моя.

- Наверное, не ваша. Этого вы как раз не желаете.

- Любовником я еще не был, - признался он. – Не умею, закрыв глаза, кидаться в бурное море приключений. Всегда хочу знать, где я, глубоко ли подо мной и далеко ли берег.

- Не надо ничего объяснять. – Я сделала полшага назад, высвобождаясь из его объятий. Много я прочитала в его глазах. Но страсти, всепоглощающего порыва в них не было. Ответственность за судьбу женщины, его жены, и была тем замком, который запирали дверь ко мне. Он еще не решился. Он хотел, но боялся, и эта боязнь была с ним всегда. Он и не пытался ее преодолеть. А я не считала себя вправе подталкивать его, подсказывать или навязывать решение, к которому он не был пока готов.

- Так лучше, - сказала я. – Вы не из тех, кто сначала грешит, а потом кается. Вы начинаете каяться задолго до греха и угнетаете себя преждевременным раскаянием так, что вам уже не до греха. Вы сами закрываете себе дорогу к греху. – Боже мой, и зачем я ему говорю все это? Зачем объясняю ему его натуру? Можно подумать, что он не знает себя!

- Мне холодно от твоей пронизательности. Не ясновидящая ли ты?

- Надо быть кисонькой, мурлыкать и ластиться и не задавать дурацких вопросов. – Я шагнула к нему, обняла, крепко обняла, поцеловала, а потом сняла с него пиджак и начала развязывать галстук. Он обмяк и стал быстро тускнеть. Он тускнел, как рыба, извлеченная из воды. Он задыхался. Угасали глаза, набрякали мешки под ними, щеки сделались одутловатыми. То, что я все брала на себя, не снимало с него ни напряжения, ни ответственности. Я так и думала, но надо было проверить эту мою догадку. О, как я хотела ее опровергнуть!

- Не бойтесь, я не хищница, - сказала я и быстрым движением накинула пиджак ему на плечи. – Не идите против своих правил, даже если я согласна.

Он стал неудержимо краснеть. Кровь лавиной прилила к его лицу. Мне показалось, что он сейчас задохнется. Но он улыбнулся, правда, через силу. Я еще не видела такой вымученной, виноватой улыбки. Вина и стыд были в ней, и жалость к себе за неумение от них избавиться, не задавать себе вопросов в минуту, когда вопросы неуместны.

- Ну, зачем ты все замечаешь? Все сечешь? – спросил он.

- Так уж устроена – не надо бы, а замечаю и секу, себе в ущерб. Вы не чужой мне человек.

- Спасибо! Я это угадывал, но знать наверное и догадываться совсем не одно и то же.

- Вам надо привыкнуть ко мне. К тому, что на Земле есть еще один человек, которому вы дороги, кроме ваших близких.

- Им-то как раз я не дорог! – воскликнул он и спохватился: а надо ли до такой степени откровенничать, обнажать душу?

- У вас прекрасная жена, - сказала я. – Не возражайте! Я ее видела недавно, Инна мне ее показала. Картинка прямо! Загляденье!

- Если бы ты знала все-все!

- А мне, поверьте, и не нужно знать это. Это ваше, личное. Я знаю, что она достойный человек, и мне достаточно. А все эти ваши камни преткновения – они такие временные!

- Спасибо! – крикнул он и тут же устыдился своего порыва.

- Я вам это для того говорю, чтобы вы были спокойны за свою семью. Я не хищница какая-нибудь и не собираюсь ее разрушать.

Он удивился, и его глаза сразу стали большими и выпуклыми.

- А за меня решать надо ли? – спросил он.

- Предостеречь полезно, - сказала я. – Ваши мучения от импульсивности, от того, что наши поступки, такие разумные в наших глазах, кому-то причиняют горечь и боль, и мы вдруг видим их в новом свете, вместе с чужой тоской и болью. Я хочу, чтобы вы не стыдились ничего того, что у вас есть ко мне, и не виноватили себя. – Я споткнулась об это неожиданно сорвавшееся слово, но затем храбро через него перешагнула. – Вы не были любовником, но и я никогда прежде не ходила в любовницах. В личном плане я всю жизнь довольствовалась полным отсутствием личной жизни. Так складывались обстоятельства. И в планы мои входит только одно: я хочу, чтобы у меня был ребенок. Я умираю от одиночества. Попробуйте-ка осудить меня за это - не получится! Право женщины иметь детей настолько естественно, что не зафиксировано ни в одной конституции мира.

- Можно подумать, что ты большой знаток конституций, - улыбнулся он. Кажется, теперь ничто на него не давило. Он отмякал, оттаивал, успокаивался, оживлялся. Милая непосредственность возвращалась к нему. Он никогда не был любовником потому, что не умел и, главное, не хотел разрушать построенное однажды.

- Ты разрешишь мне свыкнуться с тем, что ты сказала?

- Именно этого я и хочу больше всего!

- В чужих домах я не умею быть, как у себя.

- А вы будьте таким, каким вам удобно быть. Не выходите за рамки привычного.

Я подумала, что теперь он уйдет, что неловкость, пришедшая к нам сейчас, непреодолима.

- Еще музыку? – предложила я. – Цыгане, романсы, танго? Может быть, вальс?

Он не сделал шага к двери. Он сел. Уйти ему тоже было неловко. Но он абсолютно не знал, о чем говорить. Естественнее всего было бы потушить свет. Но теперь, после всего сказанного, я не могла позволить себе и этой скромной инициативы, ведь всю инициативу я передала в его руки. Он вдруг развел руками, но ничего не сказал. Я улыбнулась. Чего только не навоображаешь в бесконечные часы одиночества! А жизнь потом опровергает тебя, кидает на обе лопатки, ее реальности грубы и неудобоваримы.

- У вас книжная душа, - сказала я. – Вас никогда не влекли приключения. Неведомое оставалось за рамками ваших интересов. Вас поколачивали за прилежание: признайтесь, ведь было такое? Вы были прилежный ученик, и вашим одноклассникам это очень не нравилось. Но вы и зная, что вас не любят, не отнимали носа от раскрытой книги.

- Мне и сейчас книга интереснее телевизора.

- Как вы объясните дома свой поздний приход?

- У меня не попросят объяснений.

- Но, ведь, вы с супругой не чужие.

- Как знать! Ты нашла слово, которое все объясняет. Надо только убрать частицу «не».

«Не вторгайся в запретное!» – предостерегла себя я.

- Ты, как я догадываюсь, здесь выросла?

- Недалеко отсюда. Мне нравится этот район, он такой патриархальный. Тишина, и люди здесь открыты друг другу.

- Подожди, приползет бульдозер и сметет все это старье.

- Типун вам на язык! На другом конце города, на каком-нибудь седьмом этаже, между небом и землей, я буду еще более одинока.

- Ты слишком часто винишь себя, укоряешь по мелочам.

- Я давно уже ни в чем себя не виню, но мне от этого не легче. На замужество, как вы знаете, не надеюсь. Только на немного, на какие-то крошки с чужого стола. Я внушаю себе и внушила уже, что большее – не для меня. – Я остановилась, заметив, что сильно его смущаю.

- Как я вам надоела с сетованиями этими! Вы ведь не проблемы пришли сюда решать! - сказала я.

- Не проблемы, - согласился он. – Я хотел раскрепоститься, но привязь не поддалась. Знаешь, что я буду обдумывать дорогой?

- Вы будете укорять себя за... за... - Я, все же, не сказала о той боли, которую он оставил во мне. Он уйдет, и мне придется долго гасить ее.

- Человек и электронно-вычислительные машины – вот моя проблема. Чего ждать от этого симбиоза? Сегодня – миллион операций в секунду, миллион подсказок. Завтра – миллиард. Послезавтра? Послезавтра все увидят, что человеческий мозг – ничто рядом с электронным!

«Боже мой! – чуть не крикнула я. – О чем это он? Мы живые люди, я женщина, наконец! Почему его мысли – не со мной, не обо мне? Чудовище в брюках!»

- Не удивляйся. Электронно-вычислительная машина будет теснить человека, не сейчас, но в скором времени. Она вытеснит его из производства, начнет поставлять идеи. ЭВМ будет все знать и, как человек, все чувствовать, а отсюда лишь один шаг к тому, чтобы все уметь. Она начнет конструировать машины и роботы, потом, еще поумнев, возьмет на себя их производство. Потом, с помощью роботов, начнет воспроизводить самое себя, совершенствуя свое естество раз за разом. И что тогда останется человеку? При сем присутствовать, и только!

Я отрешенно пожала плечами. Это меня сейчас несколько не интересовало.

- Ты позабыла о глобальном соперничестве. В погоне за все более совершенными ЭВМ пульт управления однажды будет предоставлен им, и с этого момента машины возьмут вверх над человеком. Они будут читать нам и петь, показывать и рассказывать, учить, вести за ручку, помнить все о нас и за нас. И вскоре каждый свой шаг мы будем согласовывать с ними. Они начнут сочинять за писателей, рисовать за художников, чертить за конструкторов. Творчество перестанет быть привилегией человека.

- Прекратите, пожалуйста! – сказала я тихо и очень внятно и поежилась, как от внезапно нахлынувшего холода. Я словно подтолкнула его. Он сделал робкий шаг к двери, и я поспешила сказать: «До свидания, Борис Борисович!» Я держалась отлично, но была в страшном отчаянии. Мною опять пренебрегли, и опять некому было жаловаться. Эта сказка о завтрашнем засилье кибернетики и роботов, о том, что от цивилизации человеческой отпочкуется цивилизация кибернетическая, вместо того, чтобы... Вместо того, чтобы... Нет, лучше замолчать и крепко-крепко сжать зубы. Я так и сделала, иначе я бы завывала от бессилья.

23

Странное и непонятное происходит со мной. Ночь была кошмарная, и если бы грянул сильный подземный толчок и стены обрушились на меня вместе с потолком, я была бы довольна. Под утро я забылась, а когда встала и привела себя в порядок, поняла, что должна немедленно идти к Константину и требовать от него человеческого отношения к Инне. О Басове и его вчерашних метаниях я не думала совершенно. Я запретила себе думать об этом. На этом была поставлена точка, и все-все-все! Я еще не знала, что скажу Константину, и каким будет наше объяснение, но была тверда в намерении внести ясность в их отношения. Взяв на себя функции адвоката, я встревала не в свое дело, лезла напролом – все это так. Но, ведь, я помогала, я сшивала начатое и недоконченное, и это давало мне силы и укрепляло волю. Я спешила и запыхалась, но на звонок нажала не сразу. Переводя дыхание, я различила за дверью веселую скороговорку Леонида и сладкое щебетание Инессы. Вот про кого нельзя сказать, что она несчастна! Я вошла, мило улыбаясь, и каждому сказала что-то приятное, доброе, любезное, каждому улыбнулась.

- Брось, Вера! Ну, разве мы такие? До того, что ты нам адресовала, нам еще расти и расти! Знаешь, до чего довели страну наши комплименты самим себе? Наши громкие аплодисменты? – воскликнул Леонид. Я почувствовала, что он рад мне. Лицо его озарилось только на мгновение, но я успела это мгновение увидеть и запомнить. Сразу стало легко дышать.

- Я говорю то, что думаю, и если я ошибаюсь, меня легко поправить, - сказала я. – С праздником, дорогие! – И продекларировала: «Я видел праздник, праздник мая, и поражен. Готов был сгинуть, обнимая всех дев и жен!»

- Поцелуемся? – предложил Леонид.

- Только с тобой, мой сладкий! – Я шагнула к нему, обняла и крепко поцеловала в губы. Он опешил. Ага! На меня тарасили глаза. Не ожидали? Жизнь полна неожиданностями, они-то и охраняют нас от самодовольства, лени и душевной заскорузлости. Прочь с наезженной колеи! Да здравствует теплый ветер в лицо,

напитанный ароматами лугов и лесов, и тайнами дальних стран, и тайнами еще более далекими и непонятными! Как хорошо, ура-ура-ура! Я всех раскрутила, растормошила, заставила прыгать и радоваться. Самым удивительным было то, что мне подчинялись с охотой. Не даром во всех компаниях так жалуется массовиков-затейников, вносящих живую струю в привычный, веками отрегулированный ход праздничного застолья.

- Какие вы сегодня красивые! – ликовала я, и мое настроение передавалось, как по цепочке. Я вдруг остановилась, посерьезнела, закрыла на мгновение рот, сделала глубокий вдох и объявила: «Здесь что-то происходит! Здесь пахнет свадьбой!»

- Верка, ты гений! – Инесса стала тискать меня; непоказное ее усердие могло кончиться синяками. Я сияла. Пусть всем будет хорошо! Пусть всем будет хорошо сегодня и всегда!

- Ты угадала мое желание! – щебетала Инна. – Я хотела, чтобы ты была здесь, и ты пришла, да еще в таком славном настроении! Поделись, как ты добиваешься такого настроения?

- Я соскучилась, - сказала я. – Рада всех вас видеть. Рада быть с вами. Это и есть основа моего настроения. – Я опять одарила улыбкой честную компанию. Скажи человеку, что он хороший! Скажи ему это от души, от своей истинной веры в него, и он твой – только из чувства благодарности. Не такая уж я тут лишняя! Потом, им запомнилось, как я тогда высекала искры из пола, выкаблучивалась. «Братцы-кролики, кушать подано!» – пригласил Константин. Я села рядом с Леонидом и отдалась течению, которое не было ни холодным, ни теплым. Я терпеливо ждала момента, когда можно будет поговорить с Константином. Леонид, против ожидания, не раздражал меня нисколько. Вот Боря, если бы он присутствовал рядом, раздражал бы меня. И как это у него вчера повернулся язык, как не отсох! «Кибернетика потеснит человека!» Прийти на ночь к бабе и обсуждать с ней проблемы мироздания – нелепее ситуации не придумаешь. И, ведь, не глумился он, привлекал мое внимание к тому, что ему самому было очень интересно. А вышло хуже и пошлее всякого глумления. Но не надо сегодня никого осуждать. Сегодня праздник, и пусть он придет ко всем. Пусть каждый получит причитающуюся ему долю тепла, внимания и радости. И пусть каждый сам сотворит тепло, предназначенное для его родных и близких!

Стол отвечал скромному достатку молодых специалистов. Винегрет, селедка с лучком и свеклой, колбаса докторская, про которую неизвестно, кладут в нее мясо или нет, заливное из толстолобика. Пиво. Новенькое женское личико. Прелестница, определила я. Все правильно, Леониду не должно быть одиноко. Инесса очень старалась показать себя, – не видит ли она в ней соперницу? Я последила за новенькой, Константином и Инной. Костику не терпелось узнать новенькую поближе, но Инна была настороже. Она затмевала сегодня всех. А новенькая чувствовала некоторую неуверенность в своем положении и в своих возможностях и выжидала.

- Фокс! – провозгласил Константин. – Вера, покажем класс?

Магнитофон выдал старинный фокстрот «Три поросенка», очень ритмичный. На меня смотрели. «Этот танец я посвящаю Инессе Альбертовне!» - сказала я и шагнула к Константину. В его глазах трепетала смешинка. Что-то посверкивало, искрилось, дробилось на блики и фантомы и исчезало, но вот бесследно ли? Нам захлопали. И, начав, как положено, я вскоре взвинтила темп. Мы танцевали не фокстрот, а черт знает что. Выкаблучивались. Я откалывала всякие знойные штучки, и несколько раз Константин отпускал меня в свободное плавание, принимаясь отбивать такт ладонями. Я шиковала, выдавая шквал движений. Я и не знала за собой таких способностей. «Все – в круг!» – зазывала я. И всех увлекла, даже новенькую.

- Костя, есть разговор! – шепнула я партнеру, когда на нас перестали обращать внимание.

- Сегодня я не серьезный человек для серьезных разговоров, - отшутился он.

- А ты мобилизуйся!

- От меня что-нибудь нужно? – спросил он напрямик.

- Мне – нет, тебе – да.

- Спасибо, что ты беспокоишься обо мне. Другие обычно так себя не ведут. Пошли в лоджию.

Мы ускользнули от общества, и только Инна проследила за нами долгим, недоумевающим взглядом. Я кивнула ей, и она приняла мой кивок к сведению.

- Ну, и что случилось? – спросил Константин. – Я в порядке, или надо мной уже что-то нависло и угрожает? На меня должно капнуть? И куда мне отодвинуться, чтобы на меня не капнуло?

- Отвлекись теперь на минуту от суеты, и давай вместе заглянем в завтрашний день.

- Замечательное предложение. Просто отпадное. Давай мечтать. Когда-то я любил это, а теперь я люблю доброе старое время, когда так сладко мечталось и надеялось. Ты не скажешь, почему так мало сбывается из задуманного?

- Скажу. Большого мы не достойны. Мы получаем на руки ровно столько, сколько заработали, то есть, заслужили.

- От земли идешь, от сохи и серпа. Это надежно.

- Но не впечатляет, по причине рутинности. Ты это имел в виду?

- Отчасти. Теперь бери быка за рога

Я посмотрела ему в глаза и сказала: «Слушай меня внимательно. Почему бы тебе не жениться? Она очень тебе преданна».

Он вздохнул и, кажется, стал ниже ростом.

- Странно, что это предлагается через тебя, - бросил он с раздражением.

- Это не передается через меня, это не инсценировка. Если ты думаешь, что я с Инной прорепетировала этот момент, ты глубоко заблуждаешься. Инесса не знает о моем намерении говорить с тобой о ней. Это всецело моя инициатива.

- Сердобольна ты, матушка.

- Возможно. Почему ты уходишь от брака? Ты лишаешь ее возможности рожать. А когда ей рожать, как не сейчас? Ты медлишь, и это становится жестоко. Жизнь без детей – что это, как не тупик?

Он помолчал, потом воскликнул в сильнейшем раздражении: «Дети, дети! Да кому они нужны?»

- Пустоцветом быть захотелось? Не верю. Порви с Инной, если она тебе безразлична. Определенность, все же, честнее.

- Понимаешь, это мое дело.

- Понимаю. И ты извини меня за наглость великую, вызвавшую мое вторжение в сугубо ваши владения, и наберись смелости посмотреть на все это ее глазами. Глазами женщины, которая тебя любит.

- Она не несчастна! – сказал он с убеждением, которого я от него не ждала.

- Ты большой эгоист. Ты даже не догадываешься, как она мучается. Она гордая и прячет это глубоко в себе. Лишь однажды она приоткрыла душу, а рядом стояла я. И я все увидела: она очень несчастна.

- Неправда!

- Нет, правда! Неопределенность ранит ее постоянно. Ты даже не стесняешься в ее присутствии приударять за новенькой, так ты бравируешь своей свободой.

- Но что изменится, стань мы мужем и женой? Кроватька, как видишь, у нас и так общая.

- Ты изменишься.

- В лучшую сторону?

- Смею думать, что да.

- И думай, думай! Люблю, когда обо мне думают. Тогда и во мне уважение к себе просыпается. Вот я, маленький советский человек, вот мои недостатки – их перечень, сама понимаешь, длинен и на одной странице может не уместиться, но для кого-то я и такой хорош и пригож. Да ведь это замечательно!

- Не паясничай, пожалуйста. Угомонись и подумай.

У него пропало желание оправдываться и заводиться.

- Тебе надо поставить красный телефон, - сказал он. – Чтобы все, кому плохо, звонили тебе и излагали свои обстоятельства. Ты бы накладывала им на души обезболивающие повязки. Получив облегчение, они бы на другой день забывали о тебе, но ты бы не сердилась. Ты бы отвечала на новые звонки, и все бы повторялось. Ведь так?

- Так, - согласилась я. – Книжки для записей благодарностей я бы не стала заводить.

- Разреши мне подумать. Ты, знаешь, такое во мне затронула... Я подумаю, с твоего позволения!

- Только не уподобляйся индюку, который за долгодумье или за тугодумье удостоился чести оказаться сам знаешь где.

- Это что, замаскированное предостережение? Спасибо. Скажи, а у меня будут ли когда-нибудь друзья, готовые ради меня в лепешку расшибиться?

- Будут, - предположила я. – Но только тогда, когда ты сам продемонстрируешь готовность расшибиться в лепешку ради своих близких. Дружба, прежде всего, опирается на взаимность.

- Да, дружба – это взаимность. Почему-то все самое светлое в жизни основано на взаимности. Любовь, например. Это что, закон природы? Чем щедрее ты отдаешь, тем сам ты чище и лучше, тем больше к тебе притекает – почему так?

- По-моему, умение отдавать – первое отличие человека от животного.

- Одиночество не проходит для тебя впустую. Ты становишься мыслителем. Угадываю, как мало ты спишь ночами. Скоро тебе потребуется аудитория и кафедра.

- Я сторонница индивидуальной работы, - улыбнулась я. – Ты пойми: Инесса на людях красива и беззаботна, а на душе у нее давно пасмурно и кошки скребут. Засвети для нее свечу. Дай ей очаг. И ты увидишь, как это возвысит и ее, и твою жизнь. Ты, собственно, для себя все это сделаешь.

- Я должен пойти на это ради себя, любимого?

- Вот именно! Любимого и единственного!

- Это мне очень даже понятно. Себе, любимому, родной я человек! Хочешь, я спрячу тебя в нашей комнате, а с Инессой поговорю так, как ты со мной сейчас говорила?

- Подсматривать, подслушивать не привыкла.

- Брось, чего там! Я не слишком стеснительный, и Инна тоже.

- Все же вам лучше определиться не в моем присутствии.

- Чудачка! Да она знать-ведать не будет.

- Ты мне потом расскажешь, если захочешь. Но лучше подари нам всем сюрприз. Сделай ей предложение! Прямо сейчас. Торжественно объяви, что хочешь сделать важное сообщение.

- Ну, Вера! – засмеялся он и вдруг гордо вскинул голову. – А что? Духу у меня хватит.

- Ты только сам себя не удиви этим сообщением.

- Я тоже люблю удивляться. Обожаю прямо. Идем! Нет, побежали!

Он сделал два быстрых шага к двери и остановился, как вкопанный.

- Слабо? – крикнула я. Он не ответил. Он не оглянулся на меня. Он весь был поглощен предстоящим событием. Поднял вверх руку, призывая меня к молчанию, и дальше пошел крадучись, словно по следу. Танцы продолжались, но его появление внесло в них паузу. Он пересек гостиную по диагонали и выключил магнитофон.

- Фокусничаешь, Костя! – крикнул ему Леонид.

- Нисколько. Минуточку внимания, и будем веселиться до утра.

- До утра третьего мая! – поправила я. – Слушайте все! Слушайте все! Слушайте все! Говорят и работают все радиостанции Советского Союза!

Тихо сделалось в комнате, торжественно. Шум улицы вдруг влетел, и рокот далекого самолета. Я ловила недоуменные взгляды. Я была герольдом чужого счастья.

- Инна! Дорогая и единственная! При всех друзьях-товарищах прошу тебя: стань моей женой! – сказал Константин, словно клятву произнес, подошел к Инессе, взял ее руку в свою и стал ждать ответа. Ничего нарочитого, картинного не было в его поступке. Инесса побледнела. Прежде чем она вымолвила свое «да», мы захлопали. Мы хлопали и смотрели на нее, внушая: скажи свое «да». И она склонила свою прелестную головку ему на плечо. «Ура! – крикнула я. И скомандовала: «Леонид, лети за шампанским!»

И тут она на меня посмотрела. Ума ей было не занимать, и чутья – тоже. Она посмотрела на меня, и я запомнила ее взгляд. Все ее существо кричало о признательности, и этот прегромкий крик благодарности выразил ее взгляд. Слов уже было не надо, да и не могла она позволить себе какие-то жалкие слова в разношерстном нашем обществе. Лепет бы вышел невнятный. А взгляд ее я запомнила и никогда не забуду. Рано считать, что доброта у нас не в цене. Что вырождается она, потому что быть добрым накладно. Не так это, совершенно не так! Добротой открываются все настоящие ценности, доброта – самое важное в человеке, самая-самая первая его сущность, к которой привязано все остальное. Но опять получается, что я расхвасталась и нахваливаю себя изо всех сил. Это я не нарочно, это само получилось.

Новенькая бочком скользнула в коридор, и я услышала легкий хлопок двери. Кажется, кроме меня, ее спешного ретирования никто не заметил. Итак, ее присутствие на вечеринке не имело связи с Леонидом. Не скрою, отметить этот момент мне было приятно. Я тоже вскоре выскользнула за дверь. Полагаю, что и мой уход прошел незамеченным. А надо ли было ускользать так скоропалительно, так безоглядно? Я опять дала маху, но признаваться в этом не хотелось.

24

Конечно, она ко мне прибежала. Она сгорала от любопытства, как я это устроила. Много лет дело не сдвигалось с места, она старалась, а Константин ее стараний не воспринимал, отмахивался от докучных ее слов или отмалчивался, затворялся в себе, переживал сполохи и бури и вновь отправлялся в свободное плаванье, как ни в чем не бывало. Инна сияла, счастье так и выпирало из нее, и сейчас она охотно поделилась бы им со мной, так его было много. Если бы ее счастье могло стать и моим! Но, смотря на нее, ошалевшую от этого нежданного обилия теплого весеннего солнца, я радовалась. Я гордилась собой. Так, наверное, чувствует себя хирург, отходя от операционного стола с сознанием исполненного долга. Инесса обнимала и тискала меня, пока не обессилела. «Верка, уродина! – кричала она, нисколько не стесняясь своих чувств. – Какая же ты молодец! Ну, рассказывай, не томи! Чем ты его проняла?»

- Это ты его проняла. Самой собой, своим естеством. – Мы сели, громко дыша. Хаос стоял в комнате от ее кружения, от ее пылких, горячих слов. – Давай помолчим, - сказала я. – Давай придем в себя!

- Верка, я прямо невменяема. Я ждала всего, но не этого. Я ждала, что он выпроводит меня, а новенькую оставит у себя. Я настраивалась показать ему коготки!

- Помолчи. – Я подняла вверх руку, и это был повелительный судейский жест. – Не о том ты сейчас говоришь. Да приподнимись ты над обыденностью, на цыпочки встань хотя бы, посмотри поверх наших голов! Новенькая, коготки! Ты должна сейчас быть выше всего этого.

- Сейчас я просто баба, оглупевшая от счастья. Но посреди этого океана счастья я в толк не возьму: тебе-то что от всего этого? Ну, заплакалась я однажды тебе в жилеточку, пожалела себя вслух, но тебе какая корысть помогать мне? Что лично ты от этого получаешь?

- Много чего получаю, - сказала я, чувствуя, как радость моя за нее тускнеет. – Мне хорошо от того, что тебе хорошо. Если можешь это понять, пойми, и я порадуюсь за тебя. Не поймешь, – не обижусь, зла не

затаю. Наверное, не все то, что мы делаем, мы делаем с непременным намерением извлечь выгоду, и немедленную, и большую. Так что убери свои весы, они для данного случая не подходят.

- Нет, ты совсем не такая, как я. Я бы... я бы из-за тебя не стала расшибаться. Прости, конечно, но твоя жизнь – это твое дело, и я в ней ничего не забыла. Мое – это мое, и только оно меня беспокоит. Тут все ясно, и те, кого я знаю, все такие. Ты первая на моем пути не такая. Вот я и хочу объяснений.

- Не жди, их не будет.

- Да! Озадачиваешь ты меня, негодница! Не такая уж я дура, но бескорыстия не понимаю. Ты – мне, я – тебе. Это краеугольно на нашем шарике, это я понимаю. Так было и будет, ведь это всех устраивает. Заработал – получи. Ты же выкладываешься просто так, за спасибо выкладываешься. А не будет тебе сказано спасибо, все равно выложишься, сама себе скажешь спасибо, если результат тебя удовлетворит. Ты и на работе такая. Ты разве не заметила, что мы, Варвара и я, придерживаем тебя на работе? Ведь на твоём фоне мы обыкновенные лентяйки.

- Старайся, не старайся, зарплата одна. Легче не стараться, - сказала я, подстраиваясь под нее.

- Верка, уродина! Отшлепать бы тебя за это. Верка, ты человек! Теперь и я хочу что-нибудь для тебя сделать. Если бы у меня был брат, я бы уговорила его жениться на тебе. Но брата у меня нет. Хочешь, я свяжу тебе платье? Я умею. И шерсть у меня есть австралийская, бежевая.

- Это пожалуйста, - согласилась я. Потому согласилась, что была уверена: не свяжет, времени не выкроит. Но и за доброе намерение спасибо.

- Не понимаю! – вдруг возвратилась она к прежней теме. – Как он смог решиться! Он так привык холостяковать.

- Знаешь, я поражена не меньше тебя. Он и не думал делать тебе предложение. Он был удивлен, что ты несчастлива, и только. Потом что-то на него накатило. Словно стрелка сработала, которая переводит поезд с одного пути на другой. Он не взвешивал, не сопоставлял, ничего себе не уяснял. На него нашло – через посрамление его цинизма. Наверное, это было преображение.

- Не понимаю. Убей меня, ничего не понимаю.

- И чего ты ждешь от замужества? – спросила я.

- Прежде всего, нормальной жизни. Спокойствия душевного. Теперь я заживу, Вера!

- Вы заживете, - поправила я ее. – Двое вас. Никогда не забывай, что вас двое и что он не такой, как ты. Помни об этом каждую минуту, и тогда вы заживете.

- Умница. Что бы я без тебя делала?

- Не преувеличивай моего значения.

- Это потому, что ты умница. Не воображала, не гордячка. Ты трудяга и умница, сечешь все. Ты и в работе не такая, как я.

- Не может быть хорошим общество, в котором люди плохо работают.

- Наверное, ты права. Только меня это никогда не беспокоило. Меня свое, личное беспокоит. Я знаю пока одно: я выхожу замуж. И скоро у меня будет ребенок. Вот в чем я уверена. У Кости отменная хата. Кое-что я обновлю, и гнездышко заискрится. Только я дружков его шепутных отважу, кроме Леонида.

- Ты вот что. На дружков пока не замахивайся. Будь с ними приветлива, он это оценит. Не лишай его того, к чему он привык. Не спеши воспитывать. Доказывай ему днем и ночью, что любишь его такого, какой он есть. Он это еще как оценит!

- Предпочитаю доказывать ночью, - засмеялась Инесса, сладко потянулась и обняла меня. У нее были крепкие руки. – Значит, чтобы мне было хорошо, я о нем должна печься-заботиться? Ему должна отдавать, но с постоянным возвратом отданного. Но ты-то откуда все это знаешь?

- Думала про это.

- Ты много думаешь, и на тебя снисходит. А я как чувствую, так и живу.

- Поэтому тебе больше везет. С чем я тебя и поздравляю.

- Спасибо. Ну, я побежала.

- Попей со мной кофе.

- Не хочу. Ладно, давай свое кофе. А лимон у тебя есть?

- У меня Борис Борисович был и скушал лимон.

- А что было потом? – Она внимательно на меня посмотрела.

- Он скушал лимон и ушел. Это все, что он себе здесь позволил.

Она засмеялась. Она смеялась долго, заразительно. Затем сказала: «Скучнее Басова нет человека. Он кивиряльщик, книжник, мямля. Ты на Леонида ориентируйся. Он приличный парень. Нет, без балды! Выпытывал у меня, кто ты такая. Советовался, как лучше к тебе подойти. Он клюнул и надеется. Смекай!»

Я кивнула. Я уже не злилась на Леонида. Парень, как парень, и мне ли привередничать? Чайник закипел, и я смолола бразильские зерна и заварила кофе. В связи с отсутствием лимона Инессе пришлось довольствоваться ложечкой меда. Миссия ее кончилась, благодарность она высказала, и ей не терпелось отчалить. Я ее не удерживала. Впервые в жизни меня благодарили от души, и я была на седьмом небе.

Второго мая ко мне пришел Басов.

- Здравствуйте, Борис Борисович! – приветствовала я его, суетясь и окружая его показным вниманием. – Я рада, я растрогана. Как это вы надумали, осмелились как? Вы очень кстати. Мне не терпится продолжить нашу дискуссию о будущем кибернетики, о цивилизации думающих машин, параллельной человеческой. Я прямо сгораю от нетерпения опровергнуть вашу скороспелую теорию. Ужасно не хочется, чтобы в завтрашнем дне моих детей и внуков заменила какая-нибудь сверхумная электронно-вычислительная машина, помещенная в расторопного робота с чертами человека.

- Мне что, уйти? – спросил он.

- Это будет самое лучшее, что вы сможете сейчас сделать.

- А как же... - Он посмотрел на меня и замолчал. Когда он шел сюда, он думал, что благодетельствует меня своим приходом. Своего я добилась – теперь он так не думал.

- Ладно. Раз уж вы заявили, ладно. Чего уж там! Присаживайтесь, чайку поьем – если вы чего-нибудь покрепче с собой не прихватили. Я и незваным гостям рада.

- Вера, зачем ты так? За что?

- Поразмышляйте на досуге. Наверное, я тоже человек, хотя рожей не вышла и еще кое-чем.

- Я думал... Но если все это не так... Тогда что ж!

- Тогда – ничего.

- А я бы мог до утра остаться. Как ты хотела.

Я противилась, но не сумела сдержать слезы. Села и отвернулась. Должно быть, плечи мои вздрагивали. Он обнял меня.

- Прости. Тогда я вел себя, как законченный идиот.

- Вы были мне дороги, очень дороги. А теперь! Не знаю, осталось ли что-нибудь. Вы сразу все перечеркнули. Я была согласна на самую малость, но вы и эту малость умудрились унести с собой.

- Мне нужен друг, потом уже женщина. Сначала – друг.

- Оглянитесь на свое детство. Друзья, которые вам нужны, остались все там, в розовых школьных годах. Возвратите их оттуда, если это возможно. Потрудитесь!

- Поздно, - сказал он. – Те ребята отошли от меня, а многие просто канули в неизвестность. Житейское море – оно вбирает и поглощает, не спрашивая на то нашего согласия.

- Это вы отошли от своих ребят. Дружба требует душевной щедрости. Где она у вас?

- Она со мной, - сказал он, насупись. Почему никто не любит критики? Я еще не встречала самокритичных людей. Естественно скрывать недостатки, а не выпячивать их.

- Это вам кажется, что она с вами. А мне кажется, что в какой-то момент вы стали тяготиться дружбой, как и друзьями, и освободили себя от них. Что ж, еще не поздно. Можно и прощение попросить.

- Ни адресов, ни телефонов.

- Приветствую вас, житель пустыни!

Мне хотелось, чтобы он ушел. Может быть, потом все наладится. Но пусть потом, пусть не сегодня.

- Что вы сказали дома? Что у вас ночное дежурство? Противопожарная безопасность?

- Ты почти угадала.

- Ничто мне так не вредит, как моя пронизательность. Да здравствуют льстецы и подхалимы! Да будут посрамлены те, кто якобы из лучших побуждений, указывает нам на наши недостатки! У нас нет недостатков, мы не ошибаемся, не сбиваемся с правильного пути. Мы достойны любви и фанфар! Где он, свет прожекторов? Где они, высокие пьедесталы?

- Ты, мать, строга в гневе. Прости, если сможешь.

- Смогу – прошу. Но не знаю, смогу ли. Не уверена.

- Мне лучше уйти?

- Идите, идите! Иначе мне пришлось бы заставлять себя быть с вами. Давайте на сей раз обойдемся без насилия над личностью.

- Вера, да что произошло?

- Ничего не произошло. И это самое лучшее из того, что могло произойти. До свидания, Борис Борисович! У вас замечательная жена, Борис Борисович! Не обижайте ее, и вам воздастся сторицей.

- Да? Ты так считаешь?

Я чуть не крикнула: «Это не я, это вы так считаете!» Но я не должна была срывать. Однако я не была намерена и прощать.

Он все еще медлил, и тогда я сказала: «Не вынуждайте меня указывать на дверь». Он картинно вздохнул и ушел. Я его даже не разогля. Понял ли он, осознал ли? Я знала, что буду думать об этом всю ночь. Надо ли так нагружать свою не очень-то устойчивую психику? Я быстро оделась, дошла до вокзала, спустилась в метро и

вышла на станции «Проспект космонавтов». Бродила. Глазела на нарядных беспечных людей и праздничную иллюминацию. Ела мороженое. Потом мне захотелось тишины и безлюдья, и я пошла к набережной. Наверное, берег Анхора и был самым уютным местом огромного города. Плакучие ивы клонились к воде, струилась листва, струился поток, тоже зеленого цвета, пряно пахла акация. Еще вчера приход Басова был бы счастьем, пределом моих желаний, думала я, и тут же приказывала себе не думать о нем.

На дальней аллее парень в белой рубашке обнимал девушку. Он пытался ее поцеловать, она противилась, стеснясь, что их видят. Наконец, он дотянулся до ее губ, и она привстала на цыпочки и пылко ответила на поцелуй. Красивое это было зрелище. Они целовались, отстранялись, смотрели друг другу в глаза и снова целовались. Эта аллея была их аллеей, и в свидетелях они не нуждались. Я вернулась на людную магистраль. Когда-то я так любила вечерние центральные улицы. Я, школьница, приобщалась на них к жизни взрослых. Но тогда мне было шестнадцать, и то, что я чувствовала тогда, не могло прийти ко мне вновь. Прошлое не повторялось, я была чужой и одинокой на веселых праздничных бульварах. Толпа подчеркивала и обостряла мое одиночество. Я была невообразимо одинока. «Зачем ты прогнала Бориса? – упрекнула себя я. – Что он тебе сделал плохого?» Прогнала – и прогнала. Ему же в назидание прогнала, чтобы не заикливался на самом себе. И никому не обязана давать отчета. Захочу – помилую. Но захочу ли, сумею ли? Я знала, что не захочу, не помилую.

26

Третьего мая, в последний день праздников, ко мне приехали Инесса, Константин и Леонид. Я засуетилась, замельтешила. Инесса чинно держала жениха под руку, а Леонид вращал свою новую белую кепочку с длинным козырьком на указательном пальце, смотрел на меня и улыбался, словно был рад мне. Тихо стало у меня на душе. Тихо, привольно, просторно. Пришло предвкушение чего-то очень хорошего, - я медленно возносилась над житейской обыденностью.

- Молодым везде у нас дорога! – сказала я, жестом приглашая гостей входить, располагаться и чувствовать себя, как дома.

- А мне и себе ты что оставляешь? – спросил Леонид.

- Нам с тобой, как поется в одной замечательной песне, остается второе. Нам с тобой везде у нас почет. Если ты, конечно, не возражаешь и не будешь оспаривать моего перевода тебя в старшее поколение.

- Спасибо, уважила! – засмеялся Леонид. – Ты не суетись, мы кое-что припасли, чтобы развязать тебе руки. – Он сбегал к машине и вернулся с объемистым свертком, из которого извлек вареную курицу, базарные горячие еще лепешки, несколько пучков редиски и лука и большую бутылку пепси-колы.

- Видишь, какие мы правильные? – сказал он. – Ни капли спиртного. Новая жизнь – это тебе не фунт изюма. Ты, говорят, мастерица по части кофе. Покажи-ка свое умение, не прячь талант от народа!

Гости сели, а Леонид порылся в пластинках и поставил романсы в исполнении Нани Брегвадзе. Грузинка запела размашисто, проникновенно, одаривая волной природного своего тепла и обаяния, чистого, как горные вершины, и мне показалось, что она поет для меня:

«Мне надо знать, что я еще любима,
И ты мне в этом просто помоги...»

- Как ты узнал, что это моя любимая пластинка?

- Я все знаю. – Отвечая, он улыбался и не смотрел мне в глаза. Он, определенно, начинал мне нравиться. Он не манерничал, держался свободно, раскованно. Я сравнила его с Басовым, и мне стало жалко Борю: неуклюж, погружен в себя, инертен, потому что полон комплексов. Но, ведь, не за это я на него ополчилась! Это я прощала ему без минутной заминки.

- Не ждала, но приятно, - прокомментировал мое настроение Леонид. – То ли еще будет, как поет другая замечательная певица.

- То ли еще будет! – повторила Инесса. Константин сидел с ней рядом, и его рука покоилась на ее плече, а ее рука – на его.

Пепси-кола была холодная и пузырилась. Я достала хрустальные бокалы. «Какая ты богатая! – похвалила меня Инна. – У меня таких нет».

- Поэтому мы и ходим в гости, - сказал Константин. – Чтобы посмотреть, чего нам не хватает для полного счастья.

- За молодых! – провозгласил Леонид. – За молодых, которые не совсем молодые, которые, если разобраться, просто греховодники, но нам с ними все равно хорошо.

- Мы любим их и таких, и им незачем ради нас становиться лучше! – согласилась я.

- Вот за это спасибо! – сказала Инесса. – Но ради себя мы постараемся стать лучше!

- Хвали меня, как я тебя! – дурачился Леонид.

- И вечно будем мы друзья! – подхватил Константин.
- Костя, жениху к лицу степенность, - сказала я. – Молчи и не своди с невесты пылающих очей.
- Пылай, пылай! – поддержала Инна. – Но только для меня одной.
- Приглушим мелкособственнические инстинкты, - сказала я. – Умерим диктаторские наклонности!

Проявим терпимость к иному мнению и к правам человека!

- Это не любовь, это мирное сосуществование! – запротестовала невеста. – Я в это не играю!
- Инна у нас игрунья, - сказал Леонид.
- Большая игрунья! – подхватила я.

Вера, мы с Инной только на минуточку к тебе, только проведать, - сказал Константин. – А Леонид сегодня не торопится. Он отвезет нас к метро и вернется, если ты не возражаешь.

Жалко, что вы убегаете так сразу, но против возвращения Леонида не возражаю, - сказала я и бросила быстрый взгляд на Леонида, у которого сегодня нашлось для меня время. Я ведь не знала его совершенно. – У тебя свои колеса? – спросила я.

- Свои. И за свои деньги. Я не принял от предков ни рублика. Одобряешь?
- И завидую. Моего заработка хватает на самый скромный достаток.

Ищи новые точки приложения для своих способностей. Инна говорит, что ты шьешь, как богиня. Развернись, и к тебе потечет! - сказал Леонид. Молодые попрощались, и в комнате вновь стало тихо-тихо. Сейчас он вернется, подумала я. Сейчас-сейчас-сейчас-сейчас! Инна – человек, а за добро, все же, платят добром. Или равнодушием, но не злом. Да разве я сомневалась в этом? Не сомневалась. Что сделать и как вести себя, чтобы ему было хорошо? Я бесцельно ходила по комнате, садилась, вскакивала, мельтешила. Сбывается? Мое-мое-мое – и сбывается? Да неужели? Ничего я не знала, но чувство было такое, словно дверь в завтрашний день, крепко запертая прежде, уже не заперта, – подходи и распахивай, и вторгайся в неведомое, и радуйся его необъятности, его подвластности тебе, его яркому притягательному свету.

Он вошел без стука, как к себе, и я смело шагнула ему навстречу, обняла и спрятала лицо на его груди. И почувствовала силу его рук, сомкнувшихся на моей талии.

Так лучше, правда? – прошептал он, не разжимая объятий. – Когда не задаешь себе дурацких вопросов, не надо и отвечать на них.

- Вопросы – потом. Прежде я задавала их себе столько, что запуталась. Что ты во мне нашел?
- Это уже вопрос. Я нашел в тебе человека.
- Не поняла.

Слушай, я пришел к тебе не для дачи показаний. Одно то, что ты сделала для Инны, я запомню на всю жизнь. В нашем кругу такая забота о друзьях... ну, как-то не имела места.

Мы сели на диван, и он взял меня под свое крылышко – обнял одной рукой. Мелькнуло: «Неужели? Неужели это возможно, и я не одинока, а у стен, у пола, у потолка пропала способность давить?»

- Леонид, ты кто? Я ничего о тебе не знаю.

Тогда слушай. – Он пересел с дивана на кресло, стоявшее напротив, и вместе с ним отодвинулось тепло его руки, обнимавшей меня. Я зябко поежилась, и он сказал: «Потерпи, я должен видеть твою реакцию». Я вздохнула и опять зябко поежилась.

- Не кокетничай!

Я удивилась, что это слово может относиться ко мне. Если я и кокетничала когда-нибудь, этого никто не примечал.

Семья наша переехала из Поволжья в Ташкент в тридцатые годы. Что согнало наших с насиженных мест, я только догадываюсь. Коллективизация, ссылка кулаков. Отец и мать, а особенно дед свое прошлое предпочитают держать на замке. Так надежнее, считают они. Время их этому крепко обучило. Дед Андрей покрывается пятнами, когда при нем произносят имя Сталина, но молчит. Две лошади были у них, четыре коровы. Зато в семье – двенадцать человек. И всех их объявили кулаками, оставили без ничего и погнали в чем мать родила подальше от родного села. Хорошо, хоть не расстреляли, как мироедов проклятых.

- Сейчас легко расставить все по своим местам, - сказала я.

Принуждение вместо природной крестьянской добросовестности, и все пошло насмарку. По сей день расхлебываем сталинскую коллективизацию, хлеба все больше у Америки покупаем. Глупость это великая и мина замедленного действия, под социализм подсунутая. Но ума недостает ее обезвредить, вернуться на круги своя. А ведь было время, когда у нас вся Европа хлеб покупала, когда Нижний Новгород на своей распрекрасной ярмарке мировую цену на пшеницу назначал. Правда, тогда каждый для себя старался.

- Однако! – удивилась я. – Ты аналитик, мне это приятно.

Подойди поближе, я тебя поглажу по головке. Но внимай дальше. Семья деда поселилась близ кирпичного завода, где сейчас кольцо третьего трамвая. Поставила халупу из сырцового кирпича, и началось новое, азиатское житье. Вскоре родился отец, а у соседей, тоже сосланных, родилась мать. Искать друг друга им не пришлось, они вместе росли и потом уже не расставались. Дед воевал, повидал смерть, был ранен, был награжден и теперь доживает свой век. Он суховат, даже черств, нежностей не приемлет, но порядочности у него

можно поучиться. Я как-то сунулся к нему: «Дед, возьми легковую машину, ты инвалид, ты пройдешь по льготной очереди».

- А ездить кто будет?

- Я, конечно.

Дед сказал, что ему машина не нужна, что на базар и обратно он и так доковыляет, а если я хочу в авто кататься, то должен на это авто заработать. Четко он все очертил.

- Отец у тебя кто?

- Строитель. Каменщик. Отец у меня не дед.

- Не строгих правил? – подсказала я.

- Отец есть отец, - мягко поправил он, отменяя всякие ярлыки, уместные и неуместные. – В другом качестве я его не знаю и знать не хочу.

- Правильно мыслишь, - согласилась я.

- Мать у меня бухгалтер. Скромный счетный работник со скромной зарплатой. Сестра Надежда вышла замуж за военного и колесит по стране, всем довольная.

- Теперь очередь самого-самого: кто есть ты? – спросила я.

- Я, на сегодняшний день, равнодушный к тебе человек.

- На сегодняшний, завтрашний и послезавтрашний тоже, - поправила я. – Сегодня и всегда, а другого и быть не должно. Попробуй теперь, сверни налево! У тебя просто не получится.

- Ты сделай так, чтобы в пробах такого рода не было нужды, - сказал он, и я поняла, что буду счастлива с этим человеком, а требуется от меня всего-навсего одно – не оттолкнуть его ненароком, не внести в его линию жизни чужеродные формы, принять которые он не готов.

- Кто ты еще? – спросила я.

- В недавнем прошлом инженер-строитель. Года четыре провел на строительных лесах, до начальника участка вырос. Но всегда страдал от отсутствия порядка, нервотрепок на пустом месте и невысокого заработка. Работы не боялся, но моя добросовестность не вознаграждалась. Более того, косились на меня, мол, парнишечке этому больше других надо, штопор он в детстве проглотил, заносит его. Меня откровенно учили знать свое место и не высовываться. Я почувствовал, что уперся в стену. Страдал, бессонница навалилась. Никак не мог ответить на вопрос, почему я хочу, как лучше, а всем этого не надо, все отворачиваются от меня? Долго такой раздвоенности не вынести. Я плюнул на стройку, стал работать с шабашниками, делать за приличные деньги конфетки из стандартных квартир. Тут тебе и уважение за хорошую твою работу, и заработок. Но и здесь я не пришел к внутреннему согласию. Мне казалось, что мы заламываем непомерно.

«А сверхурочные? - говорили мне. – А квалификация?» Но я был против того, чтобы за рабочий день брать пятьдесят рублей. Тогда мне привели другой довод: люди, которых мы обслуживаем, живут не на одну зарплату. Еще мне сказали, что для таких, как я, существует фонд мира. И кем, ты думаешь, я стал в конце концов? Фотографом. Школьный товарищ, который раньше меня ступил на эту тропу, заверил, что здесь я буду сам себе хозяин. Я согласился, быстро втянулся, оборудовал дома лабораторию, через полгода купил колеса – половину дала мне шабашка, половину скопил за эти полгода. И теперь работаю и зарабатываю. Ежемесячно триста рублей сдаю в родную контору, а она мне возвращает половину в виде зарплаты. То, что я заработал сверх денег, внесенных в контору – мое. И это правильно. Это моя работа, часто двенадцатичасовая. Все расходы тоже мои, - бумага, химикаты, бензин.

- И чему равно, так сказать, положительное сальдо?

- Пятьсот рубликов на руки.

- Вчетверо против того, что государство платит мне. Где же ты снимаешь?

- В детских садах, школах. Конкурентов вытесняю качеством. За новинками гоняюсь, как мои сверстники – за девушками.

- Любопытно, - сказала я. – Ты что, частный предприниматель или кустарь-одиночка?

- И ты не все поняла! Номинально я работаю от государства. Но никто не мешает мне работать. И никто не ограничивает меня в заработке. Главное, я вне рамок каких-либо запретов.

- И ты в ладу со своей совестью? – Ответ на этот вопрос был важен, и я подалась вперед.

- В полном. Я наделен правом придумывать и правом делать. Я себя уважаю. На строительных лесах я так вольготно себя не чувствовал.

- Все это как-то не престижно.

- Э, милая! Раскрой, пожалуйста, глазки! Хорошая фотография сопровождает человека всю жизнь, переживает его, становится семейной реликвией, бережно хранится потомками. А фотограф я, позволь тебя заверить, хороший. Иллюстрированные журналы меня знают, и газеты тоже. При случае я и там подрабатываю.

- Но тебя учили не на фотографа.

- Разве я виноват, что не востребован обществом, как инженер? Потом, почему я должен мириться с нищенской зарплатой? Меня откровенно грабят во имя бюджета, а в бюджетных расходах, где на первом месте

аппетиты военных, передо мной не отчитываются. Не та, видите ли, я величина, чтобы ответ передо мной держать! Перед дойными коровами не отчитываются!

- Наверное, мне следует принять это к сведению без комментариев.

- К комментариям ты пока не готова. Поверь, если бы то, что позволено мне как фотографу, было позволено тебе как инженеру, ты была бы довольна.

- Что ты имеешь в виду?

- Инициативу, поощряемую материально. Полную твою ответственность за конечный результат. Работу на совесть. Я прекрасно помню свою стройку, все ее минусы. Я расспрашивал Инну о ваших делах. У нас застой, наши производственные отношения не меняются уже лет сорок. Они не просто окостенели, они перестали соответствовать времени.

- Мы так и будем дискутировать, забираться в высокие материи, а итогов подводить не будем? – спросила я. – Почему ты не женат?

Он замаялся. Он стеснялся говорить об этом прямо. «Меня слишком откровенно взвешивали, - наконец, произнес он. – Я не видел... ну, скажем, безоглядности, искреннего, ничем не замутненного порыва. И это меня останавливало от решительного шага. Поумнев, я сказал себе, что мне будет хорошо только с умной женщиной».

- Ну, это ты придумал. До тебя мужчины сторонились умных женщин.

- Твоя очередь, - пригласил он. И я почувствовала, как трудно мне быть с ним откровенной. Он хотел не анкетных данных. Ему было важно, как я смотрю на мир, что выделяю, что мне дорого. Я могла бы поведать о муках одиночества, о том, что четыре стены, оставаясь на своих местах, умеют сжимать и сдавливать и проделывают это с безжалостностью хладного камня. Но я оставила это для другого раза. Я провела его по своей жизненной канве. Моя не очень-то богатая событиями жизнь не произвела на него впечатления.

- Прячься! – сказал он. – Что ж, мы часто распахиваем объятия, а душу оставляем на запоре. Я не обижаюсь, – помилуй Бог!

- Прости, это пройдет, и я буду перед тобой, как на ладони.

- Конечно.

- Знаешь, я вчера выпроводила человека, в которого верила.

- Я... подтолкнул тебя сделать это?

- Я думала о тебе, когда так поступила. – Думала ли я о нем? Сейчас я этого не помнила. Может быть. Вероятно. Зачем же я тогда ему польстила?

- Как случилось, что ты перестала верить этому человеку?

Я помедлила с ответом. Борис Борисович очень долго взвешивал, как ему поступить, и сначала я наблюдала за этим спокойно, а потом мне стало противно. Я пересказала Леониду свои чувства. «Ты прямо как я! – удивился он. – Слушай, а не созданы ли мы друг для друга? Я еще ни разу не почувствовал себя неудобно в твоём присутствии. Может быть, эта данность согласована в самых высоких инстанциях? Тогда это для нас с тобой вариант самый оптимальный! Как это проверить, подскажи!»

- Очень может быть, - согласилась я. – Тогда эта согласованность должна быть до нас доведена.

- На меня произвело впечатление то, что ты сделала для Инны. Для меня это нечто новое.

Мне нравилось, что он понимал меня. Он понимал меня и тогда, когда я ему противоречила, когда мое мнение не совпадало с его взглядом на вещи.

- Вообще, женское влияние на общество усиливается, - сказал он. – Но пока вы только отвоевываете свои заветные пятьдесят процентов места под солнцем.

- Мне кажется, что пятьюдесятью процентами чего-либо женщина не удовлетворится никогда, - поддела я его. Пусть поерепенится!

- Весь вопрос в том, пойдет ли это на пользу человечеству.

- Я полагаю, что пойдет. Отодвинется важнейшая из угроз – угроза самоуничтожения.

- Ну, женщина-политик – это то же самое, что и политик-мужчина, только еще более изощренное, ничего никому не прощающее существо.

- С чего ты взял это? Чистая предвзятость!

- А Маргарет Тэтчер? А ее наказание аргентинских экспроприаторов английской собственности? Она проделала это ой как хладнокровно. Сжала губки и двинула эскадру на край света. А Екатерина Великая в нашей, в российской истории? При ней и страна прирастала Южной Украиной и Крымом, и российское влияние в Европе вышло на первое место. При ней, как подметил Валентин Пикуль, ни одна пушка в Европе не стреляла без ее согласия.

Он пересел ко мне на диван, и политика и все остальное отодвинулись далеко-далеко, а освободившееся пространство заняли он и я. «Свет!» – тихо произнесла я. Громко щелкнул выключатель. Сначала мрак был глубокий-глубокий. Потом скупно обозначился проем окна. Потом в комнату вошли прихотливые, зыбкие тени, и остались с нами. Это были необыкновенные минуты, ничего похожего на первый раз. Я горела и не сгорала, и мое неистовство только подогревалось. Я могла обнять весь мир, и крепко сжать его, и поделиться своим счастьем, так его было много. О, это была наша ночь! Она сполна вознаградила меня за годы сиреневой тоски и страха, что

одиночеством и тоской все кончится, что я не доживу до светлой полосы. Дожила! Добежала и окунулась в море света, в тепло и радость, которые и были любовью. Только я не хочу дарить белому свету подробности этой дивной ночи, они мои и только мои.

Мне стало нечего делать в лаборатории после шести. Я, оказывается, прекрасно укладывалась в урочное время, а все остальное шло от моих фантазий, которые погасил Леонид. Вернее, он заменил их собою, и они прекратили свое существование, на время или навсегда. Я переменялась, домой теперь меня тянуло неудержимо, и на это обратил внимание не один Басов.

- Вера, ты отлично выглядишь! Ты теперь светлячок, звездочка яркая! – сказала мне однажды Варвара. – Я рада, что Бэ-Бэ к сему не причастен. Ты извелась бы с ним, а после себя бы и во всем винила. Ему удается одна работа, это проверено.

Женская половина лаборатории, оказывается, знала Басова и тонко отделяла его умение работать от других мужских качеств, далеко не столь замечательных. Что ж, и Варвара, и Инесса ровно с мое походили в невестах, и у них было время, чтобы разобраться в Борисе Борисовиче. Я представила Варвару и Инну в интимной обстановке, и неуклюжего Басова, прибежавшего к ним на огонек, – сначала к одной, потом к другой, – и долгое переливание из пустого в порожнее за чашкой чая, долгое ковыряние в себе, долгое самобичевание, которое всегда кончалось одним и тем же – он вздыхал, как бы нехотя поднимался и уходил, награждая их тягчайшими часами ночного бдения. Он очень любил себя и свои переживания, и потому все кончалось так глупо.

Но теперь не было никакой нужды докапываться до всего этого. Басов меня больше не интересовал. Он мог быть и таким, каким я его представляла, и несколько другим, и совсем другим, совершенно другим – это не имело ровно никакого значения. Я заходила в его кабинет только по работе. Как я была благодарна себе за то, что тогда, в майский вечер, сказала ему: «Уходите, пожалуйста!» Он не понял, он и теперь мало чего понимал, но это было его дело, и я не снисходила до разъяснений. Не понял, и не надо, уроки жизни мало похожи на школьные. Жизнь не разжевывает, не повторяет пройденного каждый день, не задает наводящих вопросов, не подсказывает. Она беспристрастна в оценках. Вот почему она упрямо выводит вперед тех, кто понимает с полуслова, умеет и может научить.

Несколько раз, чтобы не ходить к Басову, я обращалась прямо к Ульмасу Рахмановичу. Первое время он встречал меня настороженно, но быстро оттаял, и я стала получать обстоятельные советы. Наверное, язык моделей был неоднозначен, во всяком случае, Раимов понимал его не всегда так, как Басов, и предложения его не были копиями предложений Басова. Его багаж, пожалуй, был солиднее, но порядка там было поменьше. Борис Борисович быстрее находил нужные аналоги, Раимов предлагал на рассмотрение больше вариантов, и среди них были совершенно необычные. Они, как правило, не давали эффекта, но были очень полезны в плане расширения моего кругозора.

Басов занервничал; может быть, примешалась и ревность. Но я прямо сказала ему, что обедняла свои поисковые исследования, обращаясь только к его опыту, что опыт к опыту, как учит народная мудрость – это богатство, и лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Он взорвался, понес что-то грубое о человеческой неблагодарности, но я эти его разглагольствования тут же пресекла: «Опомнитесь, Борис Борисович! Что за вздор! Я не обязана это слушать! Про кибернетику, про цивилизацию роботов у вас, все же, понятнее выходило!»

Он позеленел, ссутулился, повернулся и пошел. Ворону тебе на плечо, подумала я. Чтобы каркала в самое ухо. Ничем не была вызвана эта ассоциация, да и что хорошего могла накаркать ворона? Но мысль о вороне, громоздко и неуклюже сидящей на его плече, понравилась. Ворону я вполне отождествляла с этим человеком. Я чувствовала, я знала, что несправедлива, но позволяла себе эту маленькую несправедливость, вознаграждавшую за пережитое. Мелко и эгоистично, говорила я себе, но прощала себя: Басов, получай то, что заслужил, и уноси с собой, и разбирайся, что к чему.

Несколько раз, увидев и оценив мое внимание, Раимов говорил на отвлеченные темы. Он мечтал, чтобы лаборатория больше влияла на технический уровень проектов, чтобы через ее посредство в проекты шло новое. Искать и отбирать лучшее повсюду и нести в свой дом. Такой, вкратце, была его мысль, и я находила ее здоровой. Но относительно путей осуществления этой идеи наши мнения разошлись. Я считала, что здесь нужны энтузиасты, но в стимулировании должно принять участие и вознаграждение. Он же был сторонник простого повышения должностных окладов, он не видел того огромного вреда, который несла нам уравниловка. «Я получаю оклад – что же, меньше стараюсь? – приводил он свой довод. – И Басов старается, и вы. А у кого сейчас руки в брюках, того и сдельщина не научит стараться. Не в коня корм!» Он видел в отношении к работе характер и мировоззрение человека и не усматривал здесь прямой связи с производственными отношениями, страшно закостеневшими по нашей же вине.

- Ну, возьмете вы подряд, быстро его раскрутите, способностей у вас хватит – а другие? Им как прикажете быть? Вашей расторопности у них нет. Они еще меньше заработают, чем сейчас. Им ваш высокий заработок поперек горла станет, - терпеливо, словно школьнице, разъяснял он.

- И замечательно! – загоралась я. – Пусть увидят свою несостоятельность. Пусть крепко задумаются над тем, как ее преодолеть.

- Не они крепко задумаются, а мы с вами. Потому что они на шею нам сядут. Ведь они отвыкли думать. Для них сидеть на чьей-то шее куда привычнее, чем самим думать.

- Тогда пусть идут туда, где не надо думать. Пусть веники вяжут.

- А нам кого принять на их место?

- Никого, - ошаршила я его давним своим выводом. – Сами справимся. За себя и за них справимся, и еще нервы свои от порчи уберем!

- Странно вы рассуждаете, Вера Степановна. Что-то большое и выстраданное, чувствую, в ваших словах есть, но как повернуть, чтобы оно делом стало, откровенно говоря, не знаю. Руководство института тоже хочет, чтобы в проектах было больше нового, но ставку делает не на исследовательские, а на производственные отделы. Там у нас много интеллектуалов.

- Давайте подадим идею так, чтобы не противопоставлять лабораторию проектировщикам. Самое хорошее, когда все впрягаются, все тянут.

- Вы у нас без году неделя, но огляделись и запели своим голосом – приятно слушать, - сказал он. – Ваш голос не для хора. Но что из этого вытекает? Что не понята будете вы, что временами будет вам ой как тяжело. Да привыкли ли вы держать удары?

Мне казалось, что всю жизнь я только это и делала.

- Я... Что я? При чем тут я? Разве это от меня идет? От жизни. Потому и идет, что жизнь этого требует. И вы, Ульмас Рахманович, как диалектик, прекрасно знаете: противиться тому, что идет от жизни – себе дороже. Жизнь обойдет нас, на обочину оттеснит и ручкой помашет: варитесь и дальше в собственном соку, коль не уразумели!

Смутился он. Словно должен, обязан был что-то сделать из того, о чем я говорила, но не сделал, повременил в ожидании указаний свыше и теперь попал в щекотливое положение. Объясняться – перед кем? Инстанции не требовали объяснений. И коллектив молчал, одна я возникала. То, как мы работали, я назвала стоянием на месте и вчерашним днем, и он меня не опроверг, не возразил против очевидного. Если я подтолкну его еще и еще раз, он эти вопросы поднимет. Главное, начать, заложить первый камень. Лавры я заранее отдавала другим, я в них не нуждалась. Чего-чего, а аплодисментов в мой адрес мое воображение не выпестывало никогда.

И все же я очень себя люблю. Как копаюсь в себе, как хочу, чтобы меня одобряли и хвалили! Чтобы меня понимали. Хотя, и к равнодушию, и к холоду, и к откровенному неприятию своей особы должна была давно привыкнуть. Как заставить себя, вернее, как научить себя меньше жить собою и больше делать для других? Как быть выше того неугасающего брожения в душе, от которого все недовольство собой и ближними? Или именно это и есть побудительная причина и тех поступков, которые мне нравятся?

Но теперь, помимо себя, я люблю еще Леонида. Я люблю его больше себя. Он в каждой моей мысли, в каждом моем завтрашнем дне. И хочу я одного. Не того, чтобы это никогда не кончалось, это само собой. Я хочу ребенка. Я завидую каждой беременной женщине. На улице я провожаю каждую из них долгим-долгим взглядом и молю Бога, чтобы мой живот завтра же стал таким же большим и округлым.

29

Шел опыт, и Басов вдруг накричал на меня. Мы опять варьировали гасителями. Он увидел, что я поставила пирсы не его конфигурации, и обрушил на меня поток злых, несправедливых слов. Я опешила. Почувствовала себя рыбой, которую вытащили из воды. Хочешь сделать вдох, а вдоха не получается, одни судорожные конвульсии. Я смотрела на него глазами, в которых застыли слезы. Лицо его пылало, и, будь в его руках власть, в гневе он был бы страшен. Он перебрал многие мои недостатки, а когда коснулся вечной темы человеческой неблагодарности, я сказала, не повышая голоса: «Уйдите, пожалуйста». Он осекся и замер с раскрытым ртом. Это была немая сцена. Он абсолютно не привык к отпору. И в наступившей звонкой тишине я повторила:

- Идите отсюда и больше ко мне на модель не приходите, вы здесь не нужны. Без крика-шума вашего я все доделаю.

- Интригуешь! – закричал он, багровея.

- Да-да, интригую. Вот какая я гнусная. Поэтому идите и держитесь впредь от меня подальше. Может быть, на расстоянии до вас дойдет, что на подчиненных нельзя кричать. Гнусно это! Мерзко это!

Он стал зло бросать мне в лицо давние свои обиды. Мелко все это было и больно.

- Извините, вы мешаете работать, - сказала я, повернулась к нему спиной и стала заменять гаситель другим, но не тем, который предложил он. Долго не оборачивалась, а когда обернулась, его уже не было. Так-то

лучше, дражайший Борис Борисович! Без вашего крика лучше, и без вашего выпендрежа. Вы слишком долго взвешивали, как вам быть, и упустили время. Зачем же кричать, когда все кончилось – к взаимному, я думаю, удовлетворению?

Перед концом рабочего дня он подошел и извинился. Начал оправдываться, я поняла, что объяснение затянется, и прервала его: «Я вас извиняю, но давайте без объяснений. Мне, например, давным-давно все ясно, и вам тоже». Он ушел, еще более побитый. Что это со мной? Прежде в таких случаях я цепенела и не заступалась за себя. Теперь засучиваю рукава и бросаюсь навстречу, под самый огонь. Последствия – пусть будут! Несправедливость легко перерождается в скверну, если не идти на нее с гневно поднятой рукой.

Жил во мне человек, думала-мечтала я о нем, ночей не спала. Чего только я себе не рисовала! На очень высокий пьедестал возвела я этого человека. А кончилось все в одночасье обыкновенным конфузом. Радужная пленка лопнула, мыльного пузыря не стало. Ничего из посаженного не прижилось, ничего из построенного не устояло под натиском новых сил. А я не разочарована и не тшусь начать все сначала. Все у меня уже есть, и чего-либо другого мне не надо. Ибо прав народ, утверждающий, что от добра добра не ищут.

30

Ждала Леонида, как одержимая бросилась открывать дверь, а на пороге – мать. И портвейном от нее не пахнет. Я поцеловала ее: нет, спиртного духа и близко не было.

- Не ждала? – обиженно произнесла она, прочитав разочарование на моем лице.

- Проходи, пожалуйста, - попросила я.

- Чаем угостишь?

- Чем хочешь угощу.

«Только бы Леонид сейчас не явился!» – подумала я. Усадила мать в кресло. Собрала на стол. Спросила: «Как папа?»

- Боли в желудке не проходят. Чего ты хочешь? Организм пообносился. Старую вещь за новую выдать можно, но служить, как новая, она не будет.

- Мама, а не полечиться ли тебе и папе как следует?

- Что ж, похлопочи, - вдруг согласилась она. Я не была готова к ее согласию и обрадовалась.

- Самим вам себя не побороть.

- Помоги, - повторила мать. – Отучимся пить, научимся жить. Я согласна. Ты давно этого хотела, а теперь и мы не против. Будем учиться разбавлять чаем выпитое ранее.

- Мама, я все сделаю! Ты уже сколько дней... воздерживаешься?

- Сколько, сколько... Завтра пойдет десятый день. Думаешь, это легко? Это каторжно. Мутит постоянно, мысли мерзкие прут, видения. Земли твердой под ногами нет, и сна нет ни в одном глазу. Зыбко и зябко. Тебе этого не понять, ты в это не вляпывалась.

- Я тебя люблю и, значит, пойму.

- Ничего это не значит. Люблю! Притворяешься, но ни разу не проговорила, что не любишь. Ловка ты бываешь, чего там!

- Мама, я тебя пьяную не люблю. И папу. Чего тут неясного?

- Вот, для тебя и начну новую жизнь. Чтобы, значит, на протяжении оставшейся жизни любила ты меня и уважала. Можешь даже в лечебницу положить, – все вытерплю.

- Тебе врач что-нибудь сказал плохое? «Скорая» приезжала?

- Да. Соседи вызвали, мы сами не могли. Отходили, и врач сказал: «Зачем отравлять себя медленно и каждодневно? Лучше – сразу, близкие меньше мучиться будут». Еще сказал, что второй раз из такой глубокой ямы не вытаскивают. Там и останусь. И я поняла: или я остановлюсь, или подохну. Завтра же и подохну.

Прежде я не могла их остановить, как ни пыталась. Ждала: может быть, последняя черта их остановит. И вот они узрели эту черту близко и отпрянули, подавленные, опустошенные. Этот проблеск воли – последняя надежда. Но только ли наше алкогольное изобилие следует винить?

- Мама, запомни мое слово: вы еще поживете!

Чай мать пила, а есть ничего не ела, отнекивалась: «Нет аппетита». Редисочку со сметаной я приготовила, она и от нее отказалась.

- Закон бы вышел, чтобы не пить. Легче бы нам стало, - вдруг сказала она. – Законы мы со Степой уважаем. Но надо, чтобы для нас было не поздно.

- Мама, такой закон вышел давным-давно. Он в Священном писании прописан. Сказано там: «Вином не упивайтесь». Что, запомнила или не знала?

- Когда ночью глаз не смыкаешь, к утру умная-умная становишься, - сказала мать.

«Десять дней не пьет, и уже человек! – подумала я. – Видеть ее приятно. Слушать ее приятно. Так бы и завтра, так бы и завтра!»

- Ты все одна? – полюбопытствовала мать.

- Уже нет. – Я улыбнулась, и она улыбнулась в ответ. К сожалению, ее улыбка походила на гримасу – она разучилась улыбаться. Как и отец, она была не здорова. Она травила себя годы и годы, и я представила себе, что у нее должно быть на месте печени. Сейчас ее организм настойчиво требовал отравы, к которой привык и без которой не мог. А она противилась и не поддавалась.

- Кто же он? Приходящий, или все у вас серьезно?

- Он хороший человек.

- Значит, приходящий. Приезжай с ним к нам. Мы с папой на него посмотрим.

- Он, наверное, скоро сюда придет. Ты ешь, пожалуйста.

- Правда? Я посмотрю на него и сразу уйду. Можно? Я только посмотрю, мешать не буду.

Я не помнила ее внимательной, деликатной и чуткой. Девять дней трезвости – и к ней возвращались и эти ее качества. Значит, они у нее были, ведь не приобрела она их за эти дни. Они были, но водка подавила их и выдворила на задворки души.

- Дай мне что-нибудь почитать, - попросила она. – У нас поломался телевизор, а я пока не хочу чинить, надоел он. Я хочу почитать какого-нибудь умного нашего писателя. Нагибин мне нравится, и Липатов, и Федор Абрамов. И этот, украинец, который про войну интересно пишет. Этот...

- Иван Стаднюк?

- Точно, он! Книги положи мне в сумку, чтобы я не забыла. Я все теперь забываю. Приду в магазин, уставлюсь на продавца, моргаю и думаю, что же мне от него надо? На продукты посмотрю, тогда вспоминаю.

У меня навернулись слезы. Возродится ли в ней человек, не поздно ли она спохватилась? И сделала ли я все, чтобы она спохватилась раньше? Не рано ли брезгливость отвалила, отдалила меня от родителей?

Я услышала шаги Леонида. Открыла ему, представила матери. Она долго и тяжело его изучала, он же мило ей улыбался.

- Мама, можно и подобреть, - сказала я. Мать улыбнулась и протянула Леониду руку.

- Вера, твой выбор я одобряю. И ваш выбор одобряю, молодой человек. Будьте счастливы!

- Это что, благословение?

- Это мое вам родительское напутствие. Не знаю, стоит ли оно чего-нибудь в наши дни.

- Стоит, мама. Добрými традициями мы не разбрасываемся.

- Тогда, пожалуйста, о свадьбе позаботьтесь. Спите вместе, а в загсе не были. В наше время сначала женились...

- В наше время так скверно себя не вели! – подзадорила я ее. Отвечать на вопросы и делать заверения Леонид предоставлял мне. Это не затянулось. Мать пробыла с нами совсем немного, засобиралась, еще раз напутственно улыбнулась мне и Леониду, простилась и ушла. «Держись, мама! – напутствовала и я ее у ворот. – Ты постарайся ни-ни, а о лечебнице я похлопочу».

- Каково твое впечатление? – спросила я Леонида.

- Тяжко ей, трезвость для нее – бремя великое, - определил он. Еще сказал, что обольщаться рано. Даже если она больше не возьмет в рот ни капли, здоровье к ней не возвратится. Как правило, бывшие алкоголики живут недолго и до конца своей ущербности не преодолевают. Алкоголь резко ускоряет процесс старения и разрушает иммунитет.

- Ладно, знаток человеческих судеб! – сказала я. – Не лишай меня надежды. Я, наверное, до больницы поживу с родителями.

- А ты могла бы пойти по общественной части! – предположил он. – В тебе развито сострадание. За себя ты просить не станешь, постесняешься, а за других – побежишь, это тебе нравится. Любую инстанцию возьмешь штурмом. Угадал?

- Пожалуй. Мне неспокойно, когда я спотыкаюсь о несправедливость или о чью-то беду.

- Так успокаивай себя вмешательством, набивай шишки себе и другим! Только не обращай ко мне всякий раз за сочувствием, когда тебя не поймут.

- Обязательно обращай. Ты последняя понимающая меня инстанция.

- Правда? – удивился он. – В таком случае, мне надлежит вникать во все твои заботы.

- Эта обязанность тебе неприятна?

- Она для меня нова. Конечно, я буду выслушивать тебя и, если нужно, что-то советовать. Но, честно говоря, мне бы не хотелось, чтобы все свои дневные заботы ты несла в наш дом. Мне хочется, чтобы мы, ты и я, отдохали в своем доме от дневных забот.

- А как же, Леня! – воскликнула я. – Если этого не будет, то чем моя жизнь с тобой будет отличаться от моего одиночества? И разве я против того, чтобы твои заботы становились моими? Я буду вникать в них с великой радостью!

- Зато я против. Свою ношу каждый несет сам, в этом я твердо убежден. И перекладывание ее на чужие плечи – один из феноменов нравственной неполноценности современного человека. Сколько людей не желает нести никакой ноши! Посуди: растет человек, учится десять-пятнадцать лет, но не становится ни работником, ни гражданином. Себе на уме он, и только. Как мы дошли до такой жизни, как терпим?

- Согласно, ноша у каждого своя, но путь неровен, и даже очень сильному человеку может понадобиться помощь.
- Помощь, но не подмена. Я чувствую, мы с тобой многое взвесим и оценим заново. Ты совсем не похожа на меня, и мне это нравится.
- Знаешь, чего я хочу больше всего на свете? Хочу всегда тебе нравиться. Всегда-всегда-всегда! И хочу умереть первой.
- Будь и завтра такой же наивной и трогательной, - наказал он и вдруг улыбнулся по-детски широко и мило. И раскрыл объятия.

Я открываю для себя Леонида. Что я знала о нем, когда он обнял меня и привлек к себе? Приятный молодой человек неопределенного рода-племени, неизвестных занятий и туманных наклонностей. Я не знала о нем ничего. Мы знакомились, можно сказать, в объятиях друг друга. Его обстоятельность показалась мне наградой судьбы. На шелкоперов и попрыгунчиков я насмотрелась. Они пришли в этот мир наслаждаться благами жизни, но из их сознания почему-то выпало, что эти блага сначала надо создать. И чувства их были какие-то мотыльковые, скоротечные: умные слова, которым хотелось верить. А взглядишься пристальнее – за умными словами пустота, один лоск, одна бутафория.

Леонид же делал то, что говорил, и на его слово можно было положиться. Его мнение никогда не было голословным, основанным только на приязни или неприязни. В него были заложены глубокие задатки аналитика. Он умел видеть и ценить хорошее и сторониться того, что не отвечало его жизненным правилам. Когда я поняла это, а это случилось быстро, - я вздохнула с облегчением. Непрестижность его профессии, ее откровенная коммерческая основа сначала меня покорила. Я привыкла к постоянной зарплате, он же сам определял величину своего заработка – своим усердием. Свою работу он любил и относился к ней очень серьезно. Я однажды поехала с ним и видела его в деле. Получила огромное удовольствие. Мы пришли в детский сад, где его давно знали. Заведующая целый день старалась для него, все ему организовала, и он сделал около двухсот снимков. Каждый раз, когда шелкал затвор, малыш был сама непосредственность. Не знаю, как ему это удавалось, но это ему удавалось. Когда мы уехали, я сказала, что заведующая уж очень старалась, надо бы подарить ей цветы или коробку конфет.

- Она получила комиссионные, 25 рублей, - объявил он.
- Неужели? – воскликнула я, пораженная.
- И, поверь, эти деньги она отработала. Без ее радения я бы снимал в этом садике дней пять, а потом бы выяснилось, что родители не выкупили половину снимков. Она же так подаст мои снимки, сопроводит их такой словесной рекламой, что ни одна мать не откажется от фотографии.
- Это делячество, и ты откровенный циник.
- Вот и нет! Пойми мою задачу. Я сдельщик, и заведующая за комиссионные становится моим помощником. Так что ее доля в моих прибылях абсолютно законна.
- Ты ведешь себя, как предприниматель. Как частник.
- Как презренный частник, хотела ты сказать. Но почему - презренный? И чем плохо быть предпринимателем? Стараться? Ты знаешь? Можешь объяснить? Едва ли. Пойми, я могу зарабатывать много, но это всегда будет оплата по труду. Тебе будет понятнее, если я скажу, что это и есть хозяйственный расчет в действии. Применительно к одному конкретному работнику, то есть ко мне.
- А честно ли ты считаешься с государством?
- Не менее честно, чем оно со мной. Кроме того, я содержу машину, оплачиваю бензин и услуги автосервиса по ценам намного выше их себестоимости. Подумай об этом на досуге, и заготовленные тобой упреки увянут сами собой.

Мне было с ним свободно-свободно. Я говорила то, что думала, недомолвки с самого начала у нас не пошли. Я ничего не прятала от него, и он отвечал мне такой же открытостью и откровенностью чувств. Я даже поинтересовалась, не коробит ли его моя невзрачность.

- Пять лет назад я бы и не посмотрел на тебя, - признался он чистосердечно. – Но с тех пор я набрался ума-разума. Прежде как было? Лицо - стоп-кадр. Грудь – стоп-кадр. Линия бедра – стоп-кадр. И все. Теперь стоп-кадр я делаю на характере, на внутреннем убранстве. Сама сущность человека – вот мой сегодняшний стоп-кадр. Не одежда, но то, что глубоко под одеждой. Одобряешь?

Я задержала взгляд на его ладонях. У него были длинные пальцы, желтые от реактивов. Он сам проявлял свои пленки и печатал фотографии. Однажды я поинтересовалась, не соскучился ли он по строительным лесам.

- Нисколько! - ответил он. – Я ушел от беспорядка и безответственности. Я – человек порядка, но, увы, поддерживать порядок могу только рядом с собой, только на расстоянии вытянутой руки. Далее моя компетенция обрывается. Я, конечно, могу сказать свое мнение о том, что вижу далее своей протянутой руки, но в порядок оно не трансформируется.

- Значит, порядка на стройках будут добиваться другие, только не ты.

- На стройках и в стране, хотела ты сказать. Я для этого слишком мал. Или слишком низок ростом. Порядок нужен нам, как воздух. Китайцы вот вовремя спохватились и решили, что им поможет частная инициатива. Что это и есть их палочка-выручалочка. Но что нам китайцы? Что их умница Дэн Сяопин? Он ведь не наш умница. А их частная инициатива – это наша новая экономическая политика двадцатых годов, с нюансами на их узкоглазость. Мы от нее отказались навсегда, а китайцы ухватились за нее двумя руками и вон какие плоды пожинают!

Я не знала, что ему на это сказать. Вокруг себя я видела проблемы, но не умела применить к ним масштабы страны.

Мы много ездили, и вскоре я полюбила машину. Далекое становилось близким. Через час, через два мы оказывались на альпийских лугах Чимгана, на покрытых маками холмах за Черняевкой. Леонид водил машину вполне профессионально. Скорость любил, но не лихачил, старался исключить риск. Дорога не стадион, и неумно пускаться наперегонки на двухполосном шоссе. Езда должна снимать напряжение. Когда я поняла, что за рулем он отдыхает, я перестала его торопить. Он сам выбирал скорость. Вообще, я старалась как можно реже что-либо ему подсказывать или навязывать. Ведь он пришел ко мне сформировавшимся человеком. Таким я его полюбила, таким он пусть и остается. Многие счастливы в браке лишь тогда, когда им удастся настоять на своем, верховодить. Я этого не понимала. В один из летних дней Леонид предложил оформить наши отношения. Чтобы моя мать не делала ему замечаний, что он спит со мной, не поставив об этом в известность райисполком. Я была тронута, поблагодарила его, а про себя решила, что мы зарегистрируемся, как только я почувствую под сердцем биение новой жизни.

32

Моих родителей не клали в лечебницу для алкоголиков, мать чувствовала, что вот-вот сорвется, и обвиняла должностных лиц, отказывавших им в госпитализации, в равнодушии и прочих смертных грехах. И однажды я отпросилась с работы, чтобы похлопать за своих родителей. Сама я не знала иных лечебных учреждений, кроме районной поликлиники, иных представителей власти, кроме работников жэка и паспортного стола. В этих учреждениях я не сталкивалась с волокитой, но и радушия не встречала никогда. Ко мне относились нормально, то есть мною не пренебрегали. Если была очередь, я терпеливо в ней выстаивала и сравнительно быстро получала то, за чем приходила. И я не совсем понимала то раздражение, с каким мать пересказывала свои хождения по специализированным лечебницам. Раздражаться, конечно, не надо, злость – никудышный советчик. С другой стороны, у матери был не такой уж сложный вопрос, чтобы превращать его в проблему, для решения которой требовалось вмешательство извне.

Я начала с психиатрической лечебницы, с ее наркологического отделения. Потыкавшись в разные двери и наведя справки, я нашла человека, в компетенцию которого входило, удовлетворить мою просьбу или отказать. Это был главный врач. Я обрисовала ему положение матери и отца. Слушая, он дважды бросал мне: «Короче, пожалуйста». Затем изрек, как отрезал – жестко, безапелляционно: «Мест нет. Сожалею, но сейчас помочь не могу. Приходите через месяц». Я попыталась заглянуть ему в глаза, но не сумела. Он смотрел мимо меня, умело сохраняя дистанцию.

- Мать и отец сейчас не пьют, и самое время...

- Мне молодых негде размещать, - еще раз отказал он.

- В таком случае, позвольте проверить, действительно ли у вас заняты все места, - сказала я.

- А кто ты такая, чтобы меня проверять? – удивился он. Он не возмущался, хотя и указывал мне на неправомочность моего предложения. Он был готов отвечать, но не передо мной.

- Я работаю и плачу налоги, из которых вам платят зарплату. Я вас содержу, не вы меня!

- Спасибо, напомнила! Вижу, ты из той породы людей, которым до всего есть дело. Запомни: лично я ничего тебе не должен и твоим родителям - тоже. Я вправе выставить тебя и фамилии не спросить. Но, ведь, ты борец за справедливость. Начнешь ходить, писать, требовать, и в конце концов мне велят сделать то, чего ты добиваешься. Но ходить, писать и требовать ты будешь в интересах матери и отца и нигде словом не обмолвишься о нуждах лечебницы, в которой наркологическое отделение необходимо расширить втрое. Докладную по этому поводу я направлял четыре раза. Наверху отмалчиваются. Алкаши и так мертвой хваткой впились в бюджет министерства здравоохранения. Они высасывают из него миллиарды. Почему вы, свидетели деградации своих близких, не кричите: «Давайте создадим общество трезвости!»

- Извините, но я готова написать об этом, куда надо.

- При мне напишешь, а я отошлю. Но сначала убедишься, что каждое мое слово – правда. Иди за мной и смотри в оба! – Он повел меня серыми коридорами в сумрачные палаты к людям, в душах которых пока преобладали сумерки. В морге, наверное, человек чувствует себя лучше. Очень скоро мне стало преотвратно. И я, оказывается, виновата в несчастье этих людей. Виновата хотя бы тем, что молчала. На меня смотрели глубоко запавшие слезящиеся, безразличные глаза. Худосочные, серые, потерянные лица выражали высшую степень

деградации. Никто не бросил на меня любопытного человеческого взгляда. А, ведь, в большинстве это были молодые люди. И – все в прошлом, и – ничего в будущем. Ничего? Тогда зачем они здесь? Тогда им надо быть поближе к кладбищу. «Слесарь – сантехник, – называл главный врач профессии пациентов. – Доцент педагогического института. Журналист. Продавец. Парикмахер. Этот перенес два инфаркта и, поверьте мне, не жилец, – всего тридцать четыре братцу-кролику, а уже не жилец. Заведующий магазином...»

- Ведите меня назад! – попросила я.

- Свободных коечек, видишь, нет ни одной. Не взыщи – нет!

- Их пока в коридоре положить можно.

- Не допускается это, милая. С меня же и спросят. Твои уже старики, мне молодых спасать надо.

Поправь, если что не так. Но сначала войди в мое положение!

- Не в чем вас поправлять. – А сама ускоряю шаг. Быстрее, быстрее! Не затхлый, спертый воздух гнал меня прочь. Меня отталкивали и гнали прочь пациенты этой страшной клиники – люди, утратившие, на время или навсегда, человеческий облик. Неужели их жажда неизлечима?

Главный врач диктовал, а я писала. Когда он умолкал, я писала от себя. Я просила еще раз взвесить, что важнее, легкие деньги, поступающие в бюджет от реализации необъятного моря спиртного, или здоровье миллионов и несделанная ими работа. Пьющий человек сначала терял стыд и совесть. Но этим дело не кончалось, и очень скоро он терял и остальное – семью, работу, право именовать себя человеком. Я спешила, и криком кричало мое протестующее естество. Главный врач вооружал меня цифрами. Негодование же я вкладывала свое, его мне было не занимать. Страница за страницей вылетала из-под моего пера. А я все не могла излить себя. Потом я в изнеможении откинулась на спинку стула. Главный врач пытливо на меня посмотрел. Я уловила участие и улыбнулась.

- Однако, ты мне нравишься! – сказал он, странно преображаясь. – Люблю горячих и сердитых, на них воду возят. Только с ними можно сделать что-то путное. Пожалуй, я возьму твоих старичков. В коридор, только в коридор. А ты походи уж по учреждениям, внуши нужным людям, что алкоголиков нельзя оставлять без помощи. Общество, в данном случае, не виновно. И государство не виновно. Вот пусть свою вину и исправляют!

- Капля камень точит, – подсказала я.

- Иди и капай, капай! Сухого закона ты, конечно, не пробьешь, а нашей больнице поможешь.

- А как вы здесь... изо дня в день? Как выдерживаете?

- Так. Сама видишь. Здесь худшее, что может быть – человеческая помойка. А из помойки, сама знаешь, один путь – на свалку, то, бишь, на кладбище. – Он пожал плечами, уклоняясь от дачи показаний. – С онкологическими больными, и то легче. Обречены и те, и эти. Но одним выпал черный жребий, а эти сами выбрали долю, хуже которой не бывает. Сами узел на своей шее завязывают, сами затягивают.

- Но, ведь, излечиваются же!

- Кто тебе сказал? К нормальной жизни возвращаются единицы. Поражения мозга и внутренних органов необратимы. И ты... ты особенно не уповай! Если у твоих, как ты говоришь, стаж дай боже, то они много не выгадают, и практика это давно доказала. Два года от силы, и то при самых благоприятных обстоятельствах.

- Неправда!

- Я бы первый возрадовался, изобличи меня жизнь в неправоте.

- Значит, моим родителям ваша помощь практически не нужна?

- Абсолютно. Им нужно участие, нужна психологическая помощь, и они ее здесь получают. Я положу их ради тебя, чтобы ты потом не упрекала себя, что не сделала для них все возможное. Но ты везде говори, что мест для твоих стариков у меня нет.

Я ушла. Ноги не держали меня. Слабость накатывалась волнами. Я останавливалась и переживала. День померк. Я чувствовала себя пациенткой этого дурдома, выписанной с большими остаточными явлениями. Глотну свежего воздуха, повидая близких – и назад, под защиту смиренных рубашек. Неподалеку был парк железнодорожников. Я вошла. Тишина его аллей казалась мне спасительной. Заматерелые клены встретили меня густой тенью. Я села на скамейку и задышала ровнее. Нет, жизнь не так уж плоха, она у каждого разная, и не от всех подряд разит спиртным.

Внимание мое привлек близкий шорох. Замшелый, не по-летнему тепло одетый старичок крадущейся походкой медленно-медленно пересекал газон и шарил палкой по траве. Я подумала про грибы, но он тяжело склонился, поднял пустую бутылку, крикнул и сунул ее в холщовую сумку. Она сухо шелкнула о бутылки, которые уже лежали в его сумке. Щетинистые ввалившиеся щеки, радужный пухлый нос, нездоровый блеск глаз. Он был из племени жаждущих, благополучно достиг дна жизни, где-то ютился, возможно, под одним из здешних кустов, прозябал, родные и друзья сначала забыли о нем, а потом и похоронили его, – для них он умер. Он тоже забыл о них, как только они перестали ссужать его деньгами. Взаимы без отдачи? Это изнуряет и любящее сердце. В сущности, ему никто не был нужен. Всех и все заменяла ему бутылка портвейна, и я знала, что прочесывание газонов он прекратит, как только нащупает своим посохом двенадцатый порожний сосуд. Двенадцать пустых бутылок равнялись одной, портвейном наполненной. Только смерть сотрет это соотношение в его памяти.

Я сходил в райисполком. Меня перебили на полуслове и направили в городской отдел здравоохранения. Обижаться было бессмысленно, за моей спиной шебуршилась очередь и, наверное, людям из очереди здесь могли помочь. В городском здравотделе мне разъяснили, что лечебница, которую я прошу расширить, республиканского подчинения. И очень выразительно на меня посмотрели. Мол, много вас таких, якобы ратующих за общее благо, и спасибо, конечно, что вы пришли, но было бы еще лучше, если бы вы не приходили. Я почувствовала, как неуютно человеку в наших присутственных местах, как несладко быть просителем и доказывать то, что давно всем известно и что никто не собирается поправлять. В министерстве здравоохранения мне сказали, что о нуждах психиатрической больницы коллегия осведомлена, необходимые мероприятия заложены в перспективный план, и как только будут выделены ассигнования...

- Казенные вы люди, - перебила я. – А если бы вашим близким отказали в госпитализации? И как быть тогда с конституционным правом на бесплатное медицинское обслуживание?

Референт, выслушавший меня, изобразил обиду и, одновременно, едва уловимой мимикой, тенью, пробежавшей по лицу, дал понять, что его близким в госпитализации не отказали бы никогда. Он прочитал мне лекцию об алкоголизме, из которой я поняла, что с этим недугом при нынешней свободе пить нам не сладить ни сегодня, ни завтра. Судьба алкоголиков, однако, беспокоила его мало, ибо сам он не был из их компании.

- Вы мне очень грамотно все разъяснили, - сказала я, решив быть терпеливой-терпеливой. – Теперь я знаю, что легче поставить на ноги человека, перенесшего инфаркт миокарда или инсульт, чем алкоголика. Деньги вылетают, как в трубу. Помните школьную задачу: из одной трубы в бассейн втекает, из другой вытекает... Давайте закроем первую трубу! Тогда и вытекать будет нечему.

- Как это закроем? – удивился он. – Нам заявят, что трудящимся нечем платить зарплату.

Я слышала это уже много раз. Истинных сторонников трезвого образа жизни, готовых платить в бюджет из своей зарплаты ради введения сухого закона, я почти не встречала. Широкая общественность была общественностью пьющей и алчущей.

- Чем же вы можете конкретно помочь этой больнице? – спросила я.

- Подкинем им на следующий год десяток коек. Потом еще. Мало? Да, мало. Пока среда будет благоприятствовать пьющим, все, сколько мы не выделим, оторвем от себя, будет мало. Пить и лечиться стоит дорого. Не пить и быть здоровым стоит дешево. Слово пьющих не останавливает. Вот вы говорили, внушали, кричали матери и отцу: не пейте! И что же? Не отвечайте, я скажу за вас. Бестолку вы старались. Даром убеждения вы не обладаете. Я тоже. Зачем же попусту сотрясать воздух? Силу надлежит употребить. Силу власти, закона.

- Скажите, а вы доводили эту свою точку зрения до вышестоящих органов?

- Наивная вы женщина! Я каждый день это делаю!

Я поняла, что завтра главный врач дурдома услышит раздраженное: кого вы к нам посылаете? Вы не к нам ходок шлите, а в Москву, и не в Минздрав, а... Нас агитировать не надо, мы сами кого угодно сагитируем. Я церемонно поблагодарила референта и удалилась.

Оставалась еще одна инстанция, где я поставила себе целью побывать. По набережной Анхора я спустилась к площади Ленина и вошла в серое здание с колоннами, которое в прежние времена занимал Центральный Комитет компартии Узбекистана. Теперь здесь размещались учреждения рангом пониже, а от прежних времен осталась приемная президиума Верховного Совета республики. Крупнотельный розовощекий милиционер с готовностью указал мне на нужную дверь, и я, удивившись про себя отсутствию очереди, предстала перед заведующим приемной, которого звали Ульджа Джураевич. Было ему за пятьдесят, но немного за пятьдесят, и во взгляде и в словах, которыми он меня встретил, не было недоброжелательства. «Сядьте и отдышитесь, пожалуйста!» – сказал он и погрузился в бумаги. На его столе громоздилось неимоверно много бумаг. Как много людей писало ему, как много людей нуждалось в срочной помощи! Он читал чье-то письмо и подчеркивал самое важное красным карандашом. «Идиоты! – вдруг внятно произнес он. – И это они заявили ветерану войны!»

Минут через десять он обратился ко мне: «Уважаемая, излагайте, с чем явились».

Суть дела, освобожденная от шелухи многословия, не отняла много времени. Ульджа Джураевич записал мои координаты. Споткнулся о место моей работы: «Позвольте, разве вы не из этой больницы? Так вы не медик?» Он не разучился удивляться, и это мне понравилось. Каждый день к нему приходило много людей, и он выслушивал их и помогал, если находил их права ущемленными невниманием и волокитой. А многим он разъяснял неправомочность их претензий, не переступая границ доброжелательности.

- Я тоже... иногда позволяю себе принять, - вдруг признался он. – Осуждаете? А я снимаю этим нервное напряжение. К несправедливости, как и к смерти, нельзя привыкнуть. Иной раз вижу такую вопиющую черствость, что на стенку лезть готов: да как же так? Неужели это неискоренимо?

- И вам не надо снимать напряжение таким способом, - сказала я.

Ему не обязательно было располагать меня к себе, но он старался расположить, и я понимала, что он со всеми такой, что ему важно, чтобы человек уходил от него, удовлетворенный.

- Курить тоже нехорошо? – осведомился он.

- Тоже, - сказала я.

- Так я не курю! – засмеялся он, но тут же посерьезнел. – Вы не медик, а просите за медиков. Я знаете что имею в виду? К нам не часто приходят защищать общественные интересы. Совсем не часто. Идут со своими нуждами, просят за себя, за родных, попавших в беду. И мне интересен каждый человек, который просит не для себя, а как бы для всех и от имени всех. Только таким людям я бы доверял высокие государственные посты. Вы, кстати, не член партии?

Я сказала, что не доросла до этого, а он сказал, что плохо мне не быть членом партии. И пояснил: не мне плохо, что я не член партии, а партии плохо без таких, как я, в ее рядах. Он позвонил по телефону министру здравоохранения и выяснил, что в немедленном расширении нуждается большинство наркологических отделений психиатрических больниц. И президиум Верховного Совета республики сделает большое дело, если примет по данному вопросу специальное постановление, которое обяжет плановиков в сжатые сроки запланировать, а строителей построить... Министр пообещал в недельный срок подготовить все исходные материалы.

«Вот как это делается! – восхищалась я. – А я в райисполком побежала, выглядела там дурочкой из дурдома. Смотри и учись: круг обязанностей, круг ответственности, круг прав, и как всем этим пользуется компетентный работник».

- Вы слышали? Это давно назрело. Я доложу руководству, и, возможно, президиум рассмотрит этот вопрос, - сказал Ульджа Джураевич.

- Я хочу, чтобы этот вопрос был рассмотрен во всесоюзном масштабе, - заявила я.

- Вы слишком многого хотите! – Он предостерегающе поднял вверх палец. – Дерзайте, коли так. Пишите на самый верх, доказывайте. Вы располагаете убедительными фактами. Сделайте из них таран. Только...

- И сделаю! – пообещала я. Ульджа Джураевич заполнил на меня формуляр: кто я, с чем пришла, с чем уйду. И посмотрел на меня, как на друга детства. Это мне понравилось, и очень. Ничего ему не надо было от меня, а надо только, чтобы мне было хорошо. И я сказала себе, что запомню этого человека. Сделала такую зарубку в памяти.

Окончание следует